

Протоиерей Андрей Ткачев

«Страна Чудес»

и другие рассказы

Оглавление

Мудрец и проповедник.....	2
«Где двое или трое...».....	6
Кирпич.....	9
Сказка.....	12
Лебедь, или вечер Сен-Санса.....	15
В маленьком городке на границе.....	18
Отец Василий.....	20
Помогите Иисусу Христу.....	24
Бедный он всегда бедный.....	26
Старик.....	28
Согретые Пасхой.....	32
Страна Чудес.....	34
У Бога нет мертвых.....	40
Урок.....	42
Архиерей и режисер.....	42
У меня умер друг.....	45
Не каждый может быть садовником.....	46
Греция. Острова.....	47
Две истории.....	51
Раздвоенность.....	52
Судья и священник.....	52
Школа роста.....	52
Город, которого нет.....	55
Старушка.....	55
Чудаки.....	55
Учитель.....	56

Мудрец и проповедник

Жил на свете один человек, который умел задавать верующим такие мудреные вопросы, что самые убежденные из них смущались и уходили, втянув голову в плечи.

Был и еще один человек, который умел так красиво говорить о Господе, что самые занятые люди бросали свои занятия, чтобы его послушать. Смешливые при этом переставали смеяться, а у грустных разглаживались морщины и начинали светиться глаза.

Оба этих человека жили в одном городе, но никогда не встречались. Дом одного стоял в том месте, где торговый путь с севера входит в город, а дом другого — там, где этот путь выходит из города, чтобы устремиться дальше, на юг. Кроме того, любитель задавать сложные вопросы поздно вставал, потому что любил всю ночь просидеть над книгой. А тот, кто улаждал сердца людей словами о будущей жизни, напротив, просыпался рано как птица — и как птица с закатом солнца прекращал петь.

Люди любили слушать их обоих. Один пугал и одновременно привлекал умы холодной, как лед, и отточенной, как сталь кинжала, логикой. Другой смягчал сердца простыми словами, от которых почему-то многие плакали, хотя никто не грустил.

Но вот однажды во время осенней ярмарки какой-то путник предложил свести их вместе в споре. «Пусть покажут нам, кто кого одолеет, а мы послушаем их. Это будет поинтересней, чем наблюдать за состязанием кулачных бойцов!» Любям показалась увлекательной эта идея. Они даже удивились, как это до сих пор такая мысль никому из них не пришла на ум. Возбужденной толпой, шумя, пошли они к городской ратуше и стали требовать, чтобы отцы города написали указ, в котором приказали бы двум мудрецам сойтись в указанное время на городской площади для состязания.

В тот же день почтальон отнес будущим соперникам по одинаковому письму с массивной сургучной печатью. «Ну что? Как они восприняли указ городского начальства?» — наперебой спрашивали люди у почтальона. «Тот, что приводит неопровержимые доводы, обрадовался и сказал, что давно мечтал об этом дне, — ответил почтальон. — Ну а тот, что рассказывает сказки старикам и детям, взял молча письмо и сунул мне в руку монетку».

Потирая руки и азартно хихикая, расходились люди в тот день по домам. Многие сгорали от нетерпения услышать спор, и долгие три дня, которые нужно было подождать, казались им вечностью.

В ожидании назначенного турнира будущие соперники вели себя по-разному. В доме на северной окраине ночи напролет горел светильник. Хозяин сидел над книгами, оттачивая аргументы, готовя самые каверзные вопросы. Время от времени он вставал и начинал ходить по комнате. Тогда в окне была видна его нервно двигающаяся тень, и видевшие говорили,

что выглядело это зловеще. Проповедник же не поменял образа жизни. Он просыпался рано и уходил за городскую стену в ближайший лес, чтобы слушать птиц. Светильник не озарял его окна. Он по-прежнему засыпал рано. Конечно, он переживал. Ведь он — человек. У него есть нервы, в его груди бьется обычное человеческое сердце. Но он помнил слова о том, что не нужно запасаться знаниями заранее и что в нужное время уста произнесут слова Истины, если надеяться не на себя, а на Другого.

В назначенный день весь город высыпал на центральную площадь. Люди завидовали тем, кто жил в окрестных домах. Еще бы! Они могли не выходя из дома, прямо из окон смотреть на долгожданное зрелище. Некоторые даже неплохо заработали, догадавшись продавать желающим местечко у себя на балконе. Женщины надели самые нарядные платья и вплели в волосы разноцветные ленточки.

Мужчины заключали пари и били по рукам, делая денежные ставки на одного из возможных победителей. Владелец корчмы предвкушал большой заработок. Кто бы ни победил, а уж он не останется в накладе. Все сегодня придут к нему: одни — чтобы обмыть победу, другие — чтобы залить огорчение.

Хладнокровный мудрец, проведший три ночи над книгами, пришел на площадь первым. Он был бледен, но в осанке его, в волевом блеске умных глаз было столько силы, что поклонники проповедника невольно испугались. «Этот того и гляди победит. Разве можно победить такого в споре?»

Но что же это? Солнце уже вошло в зенит, и время диспута, назначенное в указе, давно наступило — а второй участник спора так и не появился. Нарядно одетые мужчины стали расстегивать куртки и камзолы и раскуривать трубки. Женщины то и дело вспоминали, что их ждет дома: кого опара для теста, кого некормленный младенец. Ропот стал волновать людей, словно рябь, бегущая по поверхности озера. Больше всех нервничал мудрец.

Он испугался! Пошлите за ним! Пусть его приведут силой! — кипятился он, и все впервые видели его потерявшим самообладание.

Несколько посыльных побежали на южную окраину города, но когда они вернулись, ропот только усилился.

Его нет дома. Дверь закрыта. Его нигде нет, — сказали они.

С великой досадой покидали площадь горожане.

Ты победил, — говорили они мудрецу, направляясь в сторону корчмы.

Я не хочу такой победы! — кричал тот. - Я найду его и докажу, что прав я, а не он!

Проповедник, не пришедший на словесное состязание, действительно пропал, как сквозь землю провалился. Его не видели ни на следующий день, ни через неделю. «Неужели он так испугался возможного поражения? — думали люди. — А может, мы обидели его этой глупой выходкой?» Но горожанам пришлось еще более изумиться, когда из города ушел и мудрец, приводивший в смущение всех, кто верит в Господа. Правда, он ушел не тайком, а открыто. Перед уходом он сказал людям:

— Мне стало неинтересно здесь жить. Раньше, когда в ваши уши вливали яд бесполезных сказок, я видел свое призвание в том, чтобы научить вас думать, в том, чтобы логикой и твердым знанием превращать фантазии в пыль. Теперь мне не с чем спорить и некого опровергать. Хотя наш диспут и не состоялся, я знаю, что он, — тут мудрец указал рукою в сторону южной окраины, — умнее всех вас. Без него у меня нет достойного противника. Я отправляюсь на его поиски.

После этого жизнь в городе стала скучной.

Женщины продолжали печь такие же вкусные пирожки. Кузнец по-прежнему творил чудеса из куска железа. Так же хорошо играли в праздники трубачи местного оркестра. В общем, все продолжали заниматься своими делами. Но во всем этом люди не находили прежнего удовольствия. Из жизни города вместе с мудрецом и проповедником ушли вкус и смысл, как испаряется крепость из незакрытой бутылки со сливянкой. Растяпа, не водворивший пробку на место, захочет через месяц развеселить сердце, но будет разочарован. Вместо веселья он обретет лишь расстройство желудка.

Время шло. В городе умирали старики и рождались младенцы. Река времени обновляла жизнь здесь, как и везде. Не все уже и помнили о мудреце и проповеднике. Как вдруг купец, торговавший на самых дальних ярмарках, принес в город удивительную новость: он нашел их обоих. Более того, они не враждовали, но были друзьями и путешествовали по миру вместе! Вот его рассказ:

— Я повстречал их в гостинице. Увидав обоих, мирно беседующих и поднимающихся в комнату на последнем этаже, я подумал, что вижу сон. Но утром на рынке я снова встретил их. Они беседовали с людьми о вере. Люди, забывая о товарах и покупках, слушали их с замиранием сердца. Говорил тот, кто и нам когда-то проповедовал. Когда же проповедника дерзко перебивал какой-нибудь спорщик, в беседу вступал второй. Он в пух и прах, к удовольствию слушателей, разбивал доводы спорщика и снова давал слово проповеднику.

Немало надивившись такой новости, я вечером постучался к ним, и мне открыли. Мы пили горячий чай и разговаривали. Тот, который не спал по ночам и сидел над книгами, рассказал мне, что долго не имел покоя. Он понимал, что не страх поражения заставил проповедника уклониться от состязания. Смутная догадка озарила тогда его ум: «Он может

жить без меня и без споров со мной. Его не радуют подобные победы. У него есть другие радости, которых нет у меня. В крайнем случае он может всю оставшуюся жизнь бродить по лесу и наслаждаться пением птиц. А у меня этого нет. Я хочу спорить и доказывать. Если же спорить не с кем, я проваливаюсь в пустоту. Моя жизнь — пустота, если нет собеседника, и сам я - пустота». Вот что он понял, пока искал своего противника. И не ошибся. Тот не боялся споров, он просто не любил их.

Мудрец действительно нашел проповедника в лесу. Тот стоял на лесной опушке, и множество птиц сидело на ветвях деревьев, радуя его своим чудесным пением. Птицы не боялись этого человека, ни одна из них не улетала. Эта картина поразила мудреца, и мысль о том, что он был прав, озарила его ум подобно молнии. Но он сделал неосторожное движение и вспугнул птиц. Те с криком поднялись в воздух, полетели над лесом и скрылись из виду. Тогда бывшие соперники посмотрели друг на друга и пошли навстречу. Они обнялись как братья и оба заплакали. «Прости меня, — сказал один. — У меня были мертвые знания, но не было живой любви». — «Мне не за что прощать тебя, — ответил другой. — Я такой же, как ты, человек, и мне нечем гордиться». О многом говорили они, и узы, крепкие, как между родными братьями, связали в тот день их души.

После этого они стали путешествовать вместе, договорившись не ждать лета в том городе, в котором перезимуют. Они уже обошли многие города и страны, утешая людей и беседуя с ними. Сложив вместе свою любовь и свои знания, они стали подобны острому мечу, наточенному с двух сторон, и приносят много пользы человеческим душам.

Купец замолчал, и вместе с ним молчали горожане. Потом кто-то вздохнул и сказал:

Эх, хорошо бы увидеть их снова.

Как же, — ответил ему другой, — придут они теперь к нам. Размечтался.

Они действительно не придут, — сказал купец. — Но не потому, что обиделись. Просто им хочется идти по широкой земле куда глаза глядят и не возвращаться вспять. Люди везде одинаковые, и каждому сердцу время от времени нужно утешение. Но зато я в следующий раз принесу вам книгу, в которой записаны некоторые из их бесед.

Эта мысль всем понравилась.

— Мы сделаем для этой книги золотой оклад и будем хранить ее в зале торжественных собраний. Как-нибудь, они уроженцы нашего города, и никто не запретит нам гордиться таким родством!

Все были согласны и решили по этому поводу зайти в корчму и угоститься свежим пивом. В этот вечер пиво, как показалось всем, вернуло себе забытый вкус и запах

«Где двое или трое...»

В центре парусного корабля возвышается мачта. А в центре европейского города возвышается шпиль собора. Соборный колокол пугает по воскресеньям птиц и мешает спать тем, кто не любит молиться. Вокруг собора, чаще всего — квадратом, расположена площадь. В зависимости от времени года она бывает то местом народных собраний с духовым оркестром и выступлением мэра, то местом оживленной торговли. Да мало ли чем может быть мостовая, на которую с четырех сторон смотрят чисто вымытые окна? Во все стороны от площади убегают узенькие улочки. Дома на них стоят столь близко, что солнечный луч бывает редким гостем на стенах первых этажей. Сыростью и древностью пахнет на этих улицах, если, конечно, хозяйка не вылила прямо перед вашим носом грязную мыльную воду или кухонную лохань с рыбьей чешуей. Сейчас такое случается редко, но раньше...

Та история, которую я хочу рассказать, случилась именно «раньше». Это было между двумя мировыми войнами, которые, по правде, стоило бы назвать бойнями. Жизнь была бедная, злая и неуверенная. Люди в те годы стали криво ухмыляться при словах «честность», «благородство»... Никому не хватало денег, никто не доверял друг другу и все на ночь крепко запирали двери. В городском храме службы шли регулярно, и люди ходили на них регулярно, но это была холодная регулярность. Точно как же и стрелки часов на башне ходят по кругу, оставаясь мертвыми.

Впрочем, было в этом городе несколько человек, которые по временам молились истово, со слезами и подолгу. Это были несколько «девочек» из заведения мадам Коко. Да, господа! В каждом европейском городе наряду с парикмахерскими, кафе и ателье верхней одежды непременно есть хотя бы один дом, войти в который можно по одной лестнице, а выйти — по другой. Это дом свиданий, веселый дом или публичный называйте как хотите. Если есть человеческое жилье, то могут быть и паразиты: грызуны, насекомые... Если есть цивилизация, то есть и одно из ее проявлений — древняя язва, неистребимое зло — проституция. Как-то окунувшись в разврат, кем-то обманутые, часто — задавленные нуждой, женщины, живущие в таких домах, никогда не остаются без работы. Потому-то и не совпадают там зачастую вход и выход, что незачем, краснея, встречаться в дверях соседу с соседом или профессору со студентом.

Жизнь в этих домах начинается тогда, когда в обычных жилищах мамы рассказывают детям на ночь сказки. А когда те же дети просыпаются утром и мамы выливают за дверь в канаву их ночные горшки, в «тех» домах наступает мертвая тишина. Неестественная жизнь имеет свой неестественный график. Во всем доме только несколько человек бодрствовали с наступлением утра. Это сама мадам Коко (никто не знал, когда она спит), уборщица и сторож, он же — дворник и вышибала. Уборщица, мадам N, мыла полы, громко шлепая о

пол мокрой тряпкой. Сторож, мужчина лет сорока, в прошлом — цирковой акробат, молча курил в углу прихожей. Рядом с ним, беззаботно болтая не достающими до земли ножками, сидела его дочь. На вид ей было лет шесть. Это было щуплое, слабо развитое дитя, похожее на маленького воробышка. Звали ее грозно. Звали ее так же, как некогда звали умную женщину, спасшую свой народ от врага. Во многих галереях мира вы при желании увидите в разные времена и разными художниками написанные картины под названием «Юдифь с головой Олоферна». Девочку звали Юдифь, но на языке ее страны имя звучало несколько иначе — Эдит.

Картинной галереи в их городе не было. Но даже если б и была, Эдит не смогла бы увидеть изображений своей знаменитой тезки. Эдит была слепа. Ее глазки смотрели прямо перед собой, но ничего не видели.

Женщины в доме мадам Коко любили девочку всей душой. Вся нерастроченная жажда семьи, материнства, вся жажда дарить, а не продавать любовь изливалась на эту слепую девочку. Ее тискали, прижимали к груди, ее носили на руках, причесывали, ее баловали сладостями.

«Если бы можно было купить ей новые глазки, я не пожалела бы всех своих денег», — говорила подругам долговязая Элизабет. Ее собственная дочь жила в другом городе у бабушки. «Мы бы все не пожалели», — вторили ей женщины. Их любовь к Эдит была неподдельной. В этом доме, где грех обжился лучше любой ласточки, забравшейся под крышу, маленькая Эдит, казалось, воплощала ту нормальную жизнь, где женщина вечером ложится в постель к мужу и просыпается утром.

Мы уже говорили, что «воспитанницы» мадам Коко временами молились горячо и подолгу. Обычный человек вряд ли поймет, что такое молитва проститутки, да лучше бы ему этого и не понимать. Но ведь Страшного Суда еще не было. И не мы, а Христос, Тот Самый, Который распят за нас, будет этот Суд першить. Эти женщины тоже любили Спасителя. Любили хотя бы за то, что Он не карает их немедленно, не испепеляет после очередного греха, но терпит и продолжает ждать. Вера жила в них в самой глубине сердца, и они стыдились выпячивать ее наружу. Но по временам раскаяние вздымалось волнами, обнажая дно души, и слезы лились рекой, и горькие вздохи нельзя было слышать без содрогания. Это было нечасто и не у всех. Но это было, видит Бог, было.

Человек, зарабатывающий на жизнь в ночном заведении, вряд ли часто будет молиться в городском храме. Особенно если городок мал и все лица знакомы. Но неподалеку от этого городка был другой, кажется — Лизьё. В этом городе был монастырь, а в монастыре — мощи святой подвижницы. Святыня привлекала и обитель толпы паломников, среди

которых было легко затеряться. Туда и ходили время от времени молиться и долговязая Элизабет, и курносая Жанна, и еще несколько их подруг по ремеслу и несчастью.

Есть, конечно, вещи, которые трудно забыть. Чаще всего забывать легче, чем помнить. Никто уже не вспомнит, как и когда к необычным паломницам пришла мысль согласно и усиленно молиться Господу о даровании зрения маленькой Эдит. Но ведь не родились же эти женщины сразу блудницами. У них были обычные матери, и эти матери читали своим дочерям Евангелие. Даже если они были неграмотны, они пересказывали детям то, что слышали в церкви. Так или иначе, обещание Спасителя исполнить любую просьбу, которую двое или трое согласно принесут Отцу во имя Его, падшим женщинам было известно.

Солнце уже встало, но еще не начало припекать, когда аккуратно и скромно одетые три «воспитанницы» мадам Коко уходили из города в направлении ближайшей обители. Рядом с ними, смешно перебирая ногами и держась за руки взрослых, шла Эдит.

Существует старое и святое предание о некой блуднице, которая, возвращаясь домой после совершенного греха, увидела мать, рыдающую над только что умершим младенцем. Сострадание прожгло сердце падшей женщины. Невыносимую боль этой матери она почувствовала как свою — и начала молиться. Она, конечно, сознавала, кто она: она знала, как не любит Бог разврат сынов и дочерей человеческих. Но боль сострадания покрыла собою все, отмела стыд, прогнала сомнения, зажгла веру. Настойчивой была молитва и краткой...

Краткой — потому, что после нескольких горячих просьб блудницы Господь ответил чудом. Он оживил дитя. Дивны дела Твои, Господи!

Боже вас сохрани не верить в правду подобных историй. Это значило бы, что вы презираете грешников и не верите, что Бог может слушать их молитвы. А может быть, вы вообще не верите в силу Божию?

Лично я верю. Верю и в то, что было очень давно, и в то, что было гораздо позже. А позже было вот что.

Несколько дней спустя по дороге из монастыря в город возвращались три женщины из дома мадам Коко. С ними, держась за руки взрослых, шагала маленькая Эдит. Она уже не смотрела прямо перед собой невидящими глазами. Она то и дело вертела головой в разные стороны и смотрела на придорожные деревья, на птиц в небе, на прохожих, идущих навстречу.

Девочка возвращалась зрячей. Она еще не привыкла к такой значительной перемене своей жизни и удивленно, снизу вверх, заглядывала в лица своих старших попугаиц. А те

отвечали ей взглядами, полными любви. Глаза у всех троих были красными от слез, а лица сияли счастьем.

Если эта история не на сто процентов совпадает с действительностью, то неточности будут касаться лишь мелких деталей. По сути все сказанное — правда. И правда эта тем более очевидна, что девочка, прозревшая по молитвам павших женщин, известна всему миру. Помните, вначале мы сравнили ее с маленьким воробышком? Именно по этому прозвищу узнал ее впоследствии весь мир. Эдит Пиаф — ее сценическое имя. «Пиаф» на парижском аргю как раз и означает — воробышек».

Кирпич

— Мама, а знаешь, Кельнский собор начали строить, в XIII веке и до сих пор не закончили.

— Угу. — Мама глядит в кухонную раковину, куда из крана льется вода. Мать моет посуду и вполуха слушает сына, вертящегося возле нее.

— Мама, а собор Нотр-Дам-де-Пари строили почти 200 лет, и он называется сердцем Парижа. Там Квазимодо на колокольне жил, помнишь?

— Угу. — Тарелки гремят, вода льется, и мать не оборачивается. — Откуда ты всего этого набрался?

— Я смотрел фильм по «Discovery» и записывал цифры и факты в тетрадку. А знаешь, какие еще соборы готические есть?

— Какие?

— Амьенский, Ахенский, Бернский. Их все столетиями строили. Представляешь, люди умирали и рождались, поколения менялись, а собор все строили и строили!

— Представляю.

— А еще во Франции были такие места, где больших камней не было. Туда в монастыри ходили люди и тоже долгие годы носили с собой камни. Ну, так им сказали монахи. Повелели или попросили. А когда камней стало много, из них стали соборы строить. Они и до сих пор стоят. Классно, правда?

Мать закрутила кран, повернулась к сыну и, вытирая полотенцем руки, спросила:

— И к чему ты мне все это рассказываешь?

— К тому, что я в лагерь еду от храма, а лагерь стоит там, где храм строят. А там кирпичей мало и люди бедные. Им нужно по кирпичу привезти.

— Как это по кирпичу?

— Просто. Каждый берет кирпич и везет. Это недорого и не тяжело. Кто-то два или три привезет, и они за лето храм закончат.

— Так тебе что, кирпич нужен?

— Ну да.

— Это — к папе. Не женское дело кирпичи носить. К папе.

Мальчика, пристававшего к маме, звали Елисей. Не шибко привычное по нашим временам имя, но красивое и, главное, церковное. Папа очень хотел назвать сына как-то так: Рафаил, или Захария, или Софроний. Папа был интеллигентнейшая и глубоко верующая душа не вполне от мира сего, и мама смирялась с его особенностями, здраво рассуждая, что иные жены смиряются с вещами похуже. Рафаила и Захарию она отмела, а на Елисея согласилась, о чем сама никогда потом не жалела. Через день после описанного диалога Елисею предстояло путешествие в церковный летний лагерь, куда организаторы в плане помощи местному приходу просили привезти по кирпичу. Дело хорошее, не тяжелое и на века зримо остающееся вкладом в молитву Церкви. Вопрос оставался за малым— найти кирпич.

Илья Ильич (звали папу так же, как Обломова, но характеры его и литературного героя не совпадали) был человеком добрейшим и культурнейшим. Он был несколько наивен, зато весьма активен и последователен. Совесть Ильи Ильича требовала от него великой щепетильности. То, что другие берут без спроса, а потом спят спокойно, он непременно покупал или просил в подарок, обещая достойную замену. А иначе, простите, был не обучен.

Кирпичи у нас продаются оптом на складах стройматериалов, а в розницу — на стройках. Но и там розница — это не один кирпич, а тачка, кузов «жигуля» или нечто подобное. Илья Ильич нашел стройку и стал высматривать, кто мог бы ему кирпич продать. Двое похожих на тех, что действительно могут продать кирпич в темном переулке, стояли у плиты подъемного крана и курили.

— Простите, вы не могли бы мне продать кирпич?

—?

— Я спрашиваю: кирпич не могли бы мне продать?

— А сколько тебе?

— Один.

—?

— Понимаете... — Илья Ильич начал сбивчиво объяснять что-то о лепте на храм, о Елисее, едущем в лагерь, о Кельнском соборе и поймал себя на мысли, что в глазах этих добрых людей он выглядит не очень адекватно. Они и сами поняли, что имеют дело с кем-то непривычным, но безобидным.

— Бери кирпич и иди, — буркнул один, отщелкивая пальцами окурочек.

— А сколько он стоит, и кому заплатить?

— Ты че — в натуре идиот или прикидываешься?

Так кирпич был приобретен. Оставалось теперь только узнать его цену и отдать ее кому-то в виде милостыни, раз добрые рабочие согласились благотворить бесплатно. Ну а пока...

— Иля! — Так мама ласково называла папу. — Откуда в ванне столько грязи?

— Я мыл кирпич. Не повезет же мальчик на стройку храма грязный кирпич.

— Иля, ты неисправим. Это же просто кирпич! Ты в своем уме?

— Сонечка, я в своем уме и поступаю совершенно правильно. Лучше скажи мне, кому отдать деньги за кирпич, потому что я себя неудобно чувствую. Кстати, сколько он стоит?

— Не смейся людей. Он ничего не стоит. У нас от дома отвалилось сразу три кирпича. Бери любой.

— У нас от дома? А ведь это идея! Мы возьмем кирпич от нашего дома и вложим его в стены будущего храма! Как тебе это? Где они лежат?

— Да под балконами со стороны клумбы.

— Я возьму этот кирпич и положу его на место того, да?

— Ты с ума меня сведешь своими причудами. Делай что хочешь и уходи из ванной. Я уберу за тобой. Ну хуже ребенка!

Если вы думаете, что заменой кирпичей все кончилось, то вы не знаете Илью Ильича. Сначала он действительно заменил кирпичи, стараясь класть иной точно на место выпавшего из кладки дома. Но потом он подумал, что сразу три кирпича — это символично. Причем все три — из их дома, а семья у них как раз состоит из трех человек. В общем, втянув ноздрями

сладкий воздух повседневной мистики, Илья Ильич взял все три кирпича домой и, конечно, вымыл их в ванне с мылом. Потом он подумал, что тот, четвертый кирпич, который по счету — первый, не стоит оставлять на месте трех. Как-никак, один — это не три и замена неравнозначна. Он решил взять все четыре кирпича, а цену их узнать и в ближайшее воскресенье отдать нищим у входа в их приходскую церковь.

Узнавание в Интернете цены товара, мытье стройматериалов и укладывание их в багаж весь вечер сопровождалось то истеричным смехом, то гневным криком мамы. Но дорогу осиливает идущий, и близко к полуночи дело было сделано

Скажите, если вы помогаете кому-то нести багаж, а он оказывается весьма тяжелым, то что вы спрашиваете? Вероятно, вы спрашиваете хозяина багажа: «Ты что, туда кирпичей наложил?» Именно этот вопрос задавали Елисею все, кто хоть пальцем трогал его дорожный чемодан. И всем им он отвечал искренно: «Да, кирпичей наложил».

Добрались они до места хорошо, и смена в лагере прошла отлично, и храм в соседнем селе действительно за лето подняли и успели накрыть. Все четыре Елисеевых кирпича вкупе с прочими дарами и жертвами пришлось кстати. И цена кирпичей отцом была узнана, но оказалась она столь скромной, что пришлось умножить ее еще на четыре, чтобы воскресная милостыня Ильи Ильича оказалась достаточной, а не обидно ничтожной.

Вы, вероятно, смеялись, читая эту историю, — уверяю вас, я сам смеялся, когда мне рассказывали ее. Но согласитесь, есть в ней еще кое-что кроме повода к смеху. Есть в ней некая преувеличенная серьезность и творении маленьких добрых дел.

Вполне возможно, что серьезность эта, смешная и наивная, как-то компенсирует ту тотальную и всеобщую несерьезность большинства людей в отношении добрых дел, и повседневных обязанностей.

Сказка

Хочу поделиться радостью — пересказать полезную и прекрасную идею. Не я придумал. Я только услышал. За что купил, за то и продам. Это не голая идея, а идея, одетая в форму сказки. сказка, как шубка, тепла и пушиста.

Слушайте.

Один король с женой и единственной дочкой отправился в путешествие на корабле. Их корабль попал в шторм и, разбитый волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил короля и его семью. Их выбросило на берег, и там, в лохмотьях, как нищие, они стали искать ночлег и пищу. Никто из них даже не заикнулся о том, что они — особы благородной крови. Кто поверил бы трем оборванцам? Их могли бы и высмеять, а то и подвергнуть побоям. Ведь не все любят нищих, а уж наглых нищих не любит никто.

Так случилось, что один из жителей той страны приютил у себя несчастных, а взамен повелел пасти свое стадо овец. Король стал пастухом, а королева и принцесса — женой и дочкой пастуха. Они не роптали на судьбу, только иногда по вечерам, сидя у огня, вспоминали жизнь во дворце и плакали.

Король той страны, где они очутились, искал невесту своему сыну. Несколько десятков пар гонцов разъехались в разные концы королевства в поисках самой красивой, самой умной и самой благочестивой девушки. Они получили от короля приказ не пренебрегать дочкой даже самого последнего бедняка. Ведь умыть, приодеть и научить манерам можно любую, а дать человеку ум или целомудрие гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому гонцы беседовали со всеми девушками, присматривались к ним, просили угостить едой, которую те приготовили. Все, что видели они, записывалось в специальные книги, и затем мудрейшие придворные изучали записи в поисках лучшей невесты принцу.

Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начавшего было забывать о своей королевской короне. Дочка была прекрасна. Она и в простой одежде была так грациозна, словно была одета в дорогое платье. Солнце сделало ее смуглой, а свежий воздух обветрил лицо, но это только добавляло ей миловидности. Что же касается разговора, то восторгу послов не было предела. Столько ума и такой эрудиции они не встречали и при дворе. Нужно было доложить о ней принцу. Тот, услышав о красавице-простолюдинке, не ждал ни секунды, и вскоре его взмыленный конь уже стоял у порога пастушьей хижины. Принцу хватило нескольких минут, чтобы сердце его заныло от глубокой любовной раны, исцелить которую могла лишь та, чей взгляд эту рану нанес.

И дело, казалось, было решено, но странно вдруг повел себя отец. Этот пастух, который во сне иногда все еще видел себя королем, потребовал от принца знаний какого-то ремесла. «Вы должны, — сказал он принцу, — уметь делать что-то руками. Неважно что. — «Но я — принц. Я умею разбирать дела государства, владеть шпагой, принимать послов и подписывать договоры», — с удивлением отвечал молодой человек.

«Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали ремесло плотника, или ювелира, или портного, или любое другое. Если нет, дочь моя не станет вашей женой».

Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на месте этого наглого пастуха. Но принц сдержался. В тот же день он уже ходил по базару, присматриваясь к работе ремесленников. Кузнецы, чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники... Как их много, и как тяжел их труд. Обучаться любому из ремесел придется долго, а всякий, кто знает томление любви, согласится, что ожидание — худшая мука для влюбленных.

Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем циновки. Два дня он учился, и к концу второго дня три циновки были худо-бедно сплетены руками королевича.

С изделием своих рук опять стоял королевич перед лицом отца своей избранницы. Пастух держал в руках и пристально рассматривал труд будущего зятя.

— За сколько можно это продать? — спросил он.

— За две медные монеты каждую.

— Как долго ты их плел?

— Два дня.

— Два дня, три циновки, шесть монет, — произнес отец и вдруг сказал. — Бери в жены мою дочь!

Принц даже подпрыгнул от радости. Затем обнял отца. Затем подошел к раскрасневшейся избраннице и, склонившись на колено, поцеловал ей руку. Но затем он повернулся к будущему тестю и спросил голосом не жениха, но будущего короля: — Объясните мне свое поведение.

— Видишь ли, сынок, — отвечал пастух, — я ведь тоже был король. Я водил войско в битву, и подписывал законы, и вслушивался в доклады министров. Никто не мог подумать, что я буду оканчивать жизнь простым пастухом. А когда Бог изменил мою жизнь, больше всего я страдал оттого, что не умел ничего делать по хозяйству. Если бы я умел плести циновки, то шесть монет за каждые два дня сильно помогли бы моей семье.

Вы прослезились, господа? Если нет, то сердце наше жестоко. Я смахиваю слезу всякий раз, когда пересказываю эту историю. А пересказываю я ее не первый десяток раз.

Мы хотим, чтобы дети наши подписывали важные бумаги и ездили в дорогих машинах. Но жизнь может сложиться по-всякому. Вдруг им придется держать в руках лопату, ходить пешком и утолять жажду простой водой? Тогда они, изнеженные и не способные к простой жизни, проклянут нас. Эта мысль была понятна многим. Солон, древний мудрец и творец законов, разрешал детям не кормить на старости того отца, который не научил сына ремеслу. И апостол Павел много послужил проповеди Евангелия

тем, что ничего не брал у паствы, но нуждам его служили собственные руки, владевшие ремеслом делателя палаток.

Это была сербская сказка, господа. И люди, сложившие ее, кое-что понимали в жизни, хотя западный мир с презрением и называл их свинопасами. Если в головах свинопасов живут такие высокие мысли, то я, господа, готов обнимать таких свинопасов, как братьев, и спокойно проходить мимо «звезд», о которых пишут в журналах.

Лебедь, или вечер Сен-Санса

Мишка был крепкий парень и не робкого десятка. Отжимания на кулаках, пробежки в любую погоду, спарринги и все такое. Но те двое, которым он попался на зубок поздно вечером у ларька с сигаретами, оказались крепче. Вот уже несколько лет прошло, как Мишка на кулаках не отжимается, по мешку не бьет и в парах не стоит. Вместо этого Мишка всем улыбается и через каждые тридцать секунд странно подергивает головой. Работает он ввиду полной своей безопасности в детском садике дворником.

Зато Григорий как занимался любимым делом, так и занимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как и всех в нашем городе, рано или поздно встречали вечером такие люди, после общения с которыми тоже можно начать всем улыбаться.

Гриша — представитель самой немужественной в глазах нашего нордического населения профессии. Гриша - скрипач. Ни разводной ключ, ни молот, ни тугая баранка старого грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих чувств он, в отличие от нормальных пацанов и мужиков, одним только матом выразить не способен. И в плечах он не широк, и смотрит на мир открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг. Даже плюнуть сквозь зубы у него получается только на метр, а не на три, как у любого нормального в нашем городе человека. И тем не менее какая-то сила в нем есть. А иначе как бы он до сих пор играл на своей скрипке, если даже такие парни, как Мишка, уже несколько лет всем улыбаются?

С какой-то репетиции в один из ветреных, холодных вечеров Гриша шел домой. Шел, срезая углы и петляя по дворам, в которых шутки ради малолетками выбиты все лампочки у фонарей; шел дворами, в которые заходят только знатоки маршрута, например пьяные, возвращающиеся после получки домой в состоянии глубокого алкогольного обморока. Через такие дворы быстрым шагом петлял, идя с репетиции домой, и Гриша, подняв воротник плаща, мурлыча обрывки мелодий, мечтая о горячем чае с лимоном.

Сиплый густой баритон неожиданно отвлек Григория от уютных мыслей:

— Сюда иди.

Несколько окон без занавесок лили жидкий свет на мокрый лабиринт двора, на поломанную детскую площадку. Из полного мрака в относительную полутьму по направлению к нему выступили две фигуры:

— Деньги давай.

Когда бежать некуда, а драться бесполезно, просьбы, произнесенные сиплым голосом, нужно выполнять. Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если, то есть, у человека есть принципы, соблюдая которые, ему скорее придется распрощаться с жизнью, чем исполнить неисполнимое.

«Деньги—дело наживное. — так всегда говорила Григорию мама. — Нужно отдать — отдавай не жалея. Потом еще заработаешь». «Деньги — не принцип», — всегда думал Григорий. Он достал из кармана все бумажки и все копейки, которые там были.

— Это все?

— Да.

— А это что?

Рука обладателя сиплого баритона коснулась футляра за спиной.

— Скрипка.

— Ты че — скрипач?

— Да.

— А она дорогая? — спросил второй надтреснутым голосом.

— Я ее не отдам. — сказал Григорий. — да она вам и не нужна. Вы ее нигде не продадите.

— А сыграть сможешь?

— Смогу, конечно.

— Пойдем.

Они зашли в ближайший подъезд и поднялись на площадку между первым и вторым этажами. Граффити на тему половой жизни обитателей дома, окурки, выбитое стекло — все как везде. Григорий с минуту дышал па пальцы и тер ладони друг о друга, разглядывая попутно неожиданных слушателей. А те с насмешкой и хищном взгляде, в свою очередь, рассматривали этого Паганини, который снимал с щуплых плеч футляр и готовился играть.

— Нам чего-нибудь нашего, — сказал баритон.

— «Мурку», что ли? — спросил, осмелев, Григорий.

— Типа того.

— «Мурку» я не играю. Я играю серьезную музыку. Нот сейчас мы репетируем ораторию Сен-Санса.

— Слушай, Чиполлино, нам это... как тебе сказать? Нам непонятно будет, въезжаешь?

— Это вам так кажется. — Григорий уже изрядно осмелел и почувствовал себя не в лапах чудовища, а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что больше непрошенных слушателей начинает владеть ситуацией. — Серьезная музыка понятна всем. Вы когда-нибудь лебедя видели?

— Ты что, издеваешься?

— Ну вот представьте себе лебедя. Представьте, как он плавает по тихому озеру и вода мягко расходится за ним едва заметным шлейфом. Закройте глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-Санс, ораторию которого мы сейчас репетируем.

Два человека зажмурились, а третий, взяв несколько нот для пробы, начал играть. Нужен был фотоаппарат, чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»! Это было похоже на столкновение двух цивилизаций. Одна цивилизация была сурова. Она выжила в снегах ледникового периода, вырастив на сердце и на всем кожном покрове грубую защитную броню. А вторая, наоборот, долго обрезывала и очищала сердце, делая его чутким и восприимчивым к любому прикосновению. Два представителя первой цивилизации стояли непривычно для себя самих — закрыв глаза, представитель другой водил смычком по струнам и сам в это время был похож на струну натянутую и звенящую. А между ними, в согревшемся от игры воздухе, царственно плыл по тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он иногда окунал голову в воду, иногда прятал ее под крыло. Но он все время плыл не останавливаясь, и озеру, казалось, не было конца.

Через несколько минут игры надтреснутый голос вскрикнул:

— Стой! Стой! Вот здесь теплее надо!

Григорий улыбнулся в ответ и стал играть теплее, а кричавший, закрыв глаза, продолжил слушать. Он действительно понял эту музыку, и радость понимания грела его не меньше, чем звуки скрипки.

Дом резонировал. Звуки уходили вверх, усиливались, заставляли подрагивать невыбитые стекла. Музыка без стука заходила в дома, сначала раздражая непривычностью, а

затем совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир, чтобы закричать «Уйдите!» или «Перестаньте!», но не кричали, а оставались у открытых дверей и слушали. После «Лебедя» из «Карнавала животных» Гриша сыграл еще «Рондо Каприччиозо», и когда он заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла скупая и жгучая слеза, какими плачут люди, пережившие ледниковый период.

Они, конечно, отдали Григорию все его деньги, а может, и додали своих. Они проводили его домой, чтобы никто пальцем не тронул Паганини («Сам знаешь, что у нас по вечерам случиться может»). Они бы и поблагодарили его на все лады, но слов в лексиконе было маловато, и большую часть своего восторга они, размахивая руками, выражали матюками и междометиями.

Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это была не та улыбка, которой встречает незнакомых прохожих некогда крепкий парень Мишка.

Обычно бес стоит незримо между людьми, нашептывая помыслы, провоцируя вражду, подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо проплыл лебедь. Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши, и если плохи, то лишь потому, что сами не знают себя настоящих

В маленьком городке на границе

Раньше границы не было, поскольку не было и страны. Была республика на краю огромного государства. Потом государство умерло, распалось на множество частей. В городке появилась таможня и пограничный пост. Все здесь было обычно, тихо, даже как-то смиренно. Железная дорога, пара средних по классу гостиниц, кафе, магазин, церковь. В церкви служил отец Станислав. Служил долго. Уже перевенчал давно всех, кого когда-то крестил. Жизнь стирала его долго то в ручном, то и машинном режиме. Стирала и с порошком, и с хозяйственным мылом. Но он не поблек, не выцвел. Выцвел только подрясник да на локтях протерся плащ.

Местные относились к нему так, как вообще относятся к местным достопримечательностям. Этакая смесь уважения и безразличия.

В Пизе любой вас проводит к Пизанской башне, но сам восхищаться не станет. Ну башня. Ну криво стоит. Вам интересно? Приезжайте, проводим, покажем, предложим сувениры на память.

К отцу Станиславу приезжали многие, и все в городке могли сопроводить пилигрима в маленький домик недалеко от ратуши. Проводить могли, но сами не заходили. Близость к чуду — мать безразличия.

Приезжавшие были из умников. Причем чаще — из столичных умников. Это были бородачи в вязаных свитерах, очкарики в плохо выглаженных рубашках, шальные богемные интеллектуалки с обгрызенными ногтями. У себя дома на кухне, в клубах табачного дыма под чай с коньяком они спорили о превосходстве Исаака Сирина над Франциском Ассизским. Многие, вопреки начитанности, были некрещеными. Пойти в любую церковь к любому батюшке им казалось непозволительным. Поэтому, если разговор касался крещения, звучало часто: «Езжай к отцу Станиславу». Затем назывался город и перечислялись удобные способы путешествия.

Отец Станислав всех принимал, хотя никого не ждал, и к приезжавшим относился сдержанно, без напускной радости. К ритуалу гостеприимства относился обед или ужин, в зависимости от времени визита. Потом долгие разговоры за полночь. Утром — служба. Вечером он провожал гостя на вокзал. Сразу никого не крестил. Только во второй или третий приезд. По дороге на поезд всегда останавливались в небольшом кафе для прощальной беседы. Это был своего рода экзамен. Они садились за столик у окна, и официантка без лишних просьб приносила чай, орешки, конфеты, два куска торта.

Разговоры бывали разные. Могли спорить на исторические темы, могли обсуждать толкования на священные тексты, разбирали богослужение, размышляли о смерти. Примерно через полчаса, когда чай уже остыл или был выпит, торт съеден, а от конфет остались обертки, отец Станислав начинал суетиться. Он счищал остатки с обоих блюдец в одно, собирал фантики, сдувал со стола крошки. Он пододвигал посуду к краю стола, чтобы официантке было легче убирать. Он делал это, не переставая слушать собеседника, и вовремя отпускал реплики по поводу Вселенских Соборов, влияния платонизма на богословие, важности Великого поста. Бывало, что увлеченный беседой гость говорил собирающему блюдца священнику: «Да бросьте, отче. Она сама уберет». Это и был главный момент в экзамене.

Расплатившись и выйдя на улицу, они медленно шли к вокзалу с красной черепичной крышей. Уже на перроне, под звук молоточков, которыми обходчики обстукивали колеса,

священник говорил гостю: «Рано вам пока креститься. Вы людей не цените и не замечаете. Если покреститесь, будете фарисеем. А это плохо. Они Бога убили».

Затем следовало рукопожатие, и ошарашенный гость провожал взглядом удалявшегося священника. Тот шел медленно, немного сутулился и, кажется, чуть хромал.

Такие истории происходили несколько раз. В конце восьмидесятых поток приезжавших заметно уменьшился. Отец Станислав об этом не жалел. Даже немножко радовался. Молиться за людей он не переставал, а лагерный опыт научил его навсегда той истине, что молитва за людей приносит больше плодов, чем устное наставление.

Отец Василий

Его палата находилась почти в конце коридора. Выход из лифта, поворот налево, двадцать шагов по свежевывытому линолеуму мимо столика дежурной медсестры, осторожный стук в дверь, и вот мы уже в палате. Кроме отца Василия, больных в палате нет. Есть только стойкий запах лекарств, какое-то питье на тумбочке и огромное окно во всю стену.

Мало того, что новая больница весьма высока и мы находимся на одном из последних ее этажей, она еще и построена на горе. Отсюда был бы виден весь город, вырасти она где-нибудь поближе к центру. А так, на окраине, из окон ее верхних этажей видны только новостройки «конца географии» да загородные поля.

Я помню вид из подобного окна в другой палате этой же самой больницы. Там за окном тогда было страшно много ворон. Они облепливали крыши домов напротив и голые ветки деревьев и какое-то время сидели молча. А потом вдруг, как по сигналу, с истошным карканьем поднимались в воздух, принимали вид большого, колышущегося живого ковра и носились с полминуты в сыром осеннем воздухе, чтобы облепить затем другие крыши и другие деревья. Можно было подумать, что Хичкок за окнами командует вороньем на съемках своего знаменитого триллера. И это выглядело мистично, тем более что в палате лежал тогда человек с очень серьезным недугом и будущее было в тумане, и мы оба — больной человек и я — молчали, следя за перемещениями в воздухе черного каркающего живого ковра.

А в тот день в палате у отца Василия ворон за окном не было. За окном вообще не было ничего, и само окно было черным, как огромный экран плазменного телевизора, потому что на часах уже было восемь вечера и был ноябрь. Нас было трое: двое пономарей храма, где служил отец Василий, и семинарист, приехавший домой на пару дней.

Благословите, отче, — сказали мы, окружив кровать.

Бог благословит, — сказал священник, и было видно, что слова дались ему с трудом, что губы запеклись и прилипли к пожелтевшим зубам, что весь он высох и как бы уменьшился в размерах и что особой радости своим посещением мы священнику не доставили.

Пока один выкладывал на тумбочку апельсины, другой рассказывал о новостях в храме, о том, что прихожане молятся о больном священнике, что на последней службе причастников было так много, что пришлось причащать из трех чаш. Отец Василий пытался улыбнуться, пытался придать лицу выражение заинтересованности. Но у него это плохо получалось. А мы были слишком глупы и слишком «добродетельны», чтобы понять простую вещь: элементарное человеколюбие требует, чтобы мы немедленно ушли. Ушли и оставили человека наедине с болью, со стонами, рожденными болью, с мыслями о смерти, с молитвами, произносимыми шепотом. Но мы тогда исполняли Заповедь «болен был, и посетили Меня», поэтому сидеть собирались долго, хоть это и мучило больного.

Когда новости были рассказаны, а молчание стало тягостным, я, словно дополняя меру благочестивого безумия, брякнул: — Вы, отче, здесь молитесь?

Он повернул голову в мою сторону и посмотрел на меня таким же теплым взглядом, как смотрел мой дед, и сказал тихо: — Без молитвы, сынок, можно с ума сойти.

Эти слова стоят дорого. Очень дорого. Я часто перетряхиваю пыльный хлам воспоминаний и не могу похвалиться, что в архивной папке с надписью «Былое и думы» у меня много таких сокровищ.

И я любил отца Василия. Любил потому, что он был *похож* на покойного дедушку. Такой же высокий, смуглый, крепкий в кости. С открытой душой и красивым *лицом*. Любил потому, что молился он как-то особенно *искренне*. Настолько искренне, что даже попы (а попы *редко* хвалят попов, уж поверьте мне) говорили о нем: «Он с Богом разговаривает». Правда, тут же, рядом, *они не забывали* вспомнить, что видели его как-то *в великую Пятницу* пьяным и что бывает он временами *груб* и так далее. Все это произносилось «как бы» *не в осуждение*, а беспристрастной правды ради; и не *со злобой*, а с чувством объективности и со вздохом: *мол все* мы грешные. Но образ отца Василия в моих *глазах* не мерк и не загрязнялся. Зато те, кто это говорил *в моих* глазах становились ниже, словно слезили *со стульчика* на заднем плане групповой фотографии.

Ну и что, что видели его пьяным? Его *и* с сигаретой *могли* увидеть. Но дедушка мой тоже курил, а люблю я его от этого не меньше. Он курил по полторы-две пачки сигарет без фильтра, которые назывались «Аврора». Он курил их одну за одной и поминутно повторял краткую фразу, смысл которой я уразумел много лет спустя, после его смерти. «Господи Иисусе Христе, прости мою душу грешную», — говорил мой дедушка. Даже за однажды

сказанные эти слова я простил бы ему все выкуренные сигареты, а он не однажды, а постоянно твердил их шепотом.

Отец Василий был лучшим священником, которого я знал. И обидный кошмар ситуации заключается в том, что я почти не знал его, вернее, знал очень мало. Он любил Почаев, потому что при Польше учился там в семинарии. Каждый год по несколько раз он ездил туда помолиться. Однажды я бегал после службы в автобусную кассу ему за билетом, а билетов не было, и я вернулся взмыленный и ужасно расстроенный. Он тогда улыбнулся и сказал: «Ничего. Попрошу сына, он завезет».

Выходя после литургии на улицу и видя нас, пономарей, заваривающих чай в пономарке, он спрашивал: «А что будет после ча-а-а-ю?» И сам же отвечал: «Воскресение мертвых».

Однажды на вечерней службе, когда была его черед служения, я читал Шестопсалмие. Потом вошел в алтарь, и он похвалил меня за то, что читал я громко и четко выговаривал слова. А потом разговорился, стал вспоминать монахов, которых знал, говорил, что они самые счастливые люди, если только по- настоящему монашествуют. А я, говорит, всю жизнь хотел и Богу, и жинке угодить. Вот умирать скоро, а и Богу не угодил, и жинка вечно недовольна.

Еще вспоминал, что один старый монах в Почаеве говорил ему после окончания семинарии: «Вот, Васенька, доброму тебя научили, плохому ты сам научишься».

Вот вроде бы и все, что я знаю. Этого мало, чтобы любить человека. Мало в том случае, если любишь «за что-то». А если не «за», а просто, тогда — очень даже много. Да это и не все. Я помню, как он крикнул на людей во время проповеди. Они шушукались, а он треснул по аналою своей широкой ладонью и гаркнул: «Горе имеим сердца!»

И еще рассказывал, как на первом своем приходе в селе на похоронах стал слезливо завывать по обычаю местного духовенства. Стал говорить о том, что покойник жил с женой душа в душу, что в семье у них был мир, что у всех разрываются сердца от боли при мысли о прощании с ним и т.п. А потом, уже по дороге с кладбища, какая-то женщина старшего возраста сказала ему, что, дескать, нес он полную чушь, и всем было стыдно слушать, и первый, кто с облегчением после смерти покойника перекрестился, была его жена. И я, говорил отец Василий, с тех пор навсегда прекратил брехливые и слезливые проповеди рассказывать.

Точно! Подтверждаю и свидетельствую. Ни брехливых, ни слезливых проповедей он, в отличие от многих, не рассказывал!

Тех, кто непременно умрет, из больницы стараются выписать. Чтобы не увеличивать смертную статистику. Поэтому отец Василий умирал дома.

Я был у него еще раз, но уже один. Был недолго, потому что мучился укорами совести после того посещения в больнице. Я даже держал его за руку, а он, не стесняясь моим присутствием, шумно вздыхал и иногда охал. Потом я услышал: «Да сколько же еще, Господи. Или туда, или сюда». Потом опять раздался звук глубоких и нечастых вдохов и выдохов.

Путь «сюда» ему уже был заказан.

А через несколько дней он ушел «туда», в «путь вся земли», в неизвестную и грозную вечность, где ждет его Бог, Которому он так и не угодил, куда провожают его рыдания жены, которая всю жизнь была недовольна.

И мы хоронили его как положено, и это были, кажется, первые похороны священника в моей жизни. Первые похороны священника были похоронами лучшего священника в моей жизни.

Я так много узнал тогда.

Он был облачен в полное облачение, которое, как выяснилось, нужно приготовить задолго до смерти. Ему закрыли лицо воздухом. Оказывается, потому, что священник лицом к лицу годами разговаривал с Богом, как Моисей. А Моисей, сходя с горы, закрывал лицо куском ткани, чтобы евреям не было больно смотреть на исходившее от него сияние.

И в руках у него был не только крест, но еще и Евангелие, которое он должен был всю жизнь проповедовать. И на самом погребении из Евангелия читалось много-много отрывков, перемежаемых молитвами и псалмами, а похороны были долгими, но ничуть *не* утомительными. И мы несли его на плечах вокруг *храма* под редкие удары колокола и пение Страстных ирмосов, таких протяжных, таких грустных и одновременно величественных. «Тебе, на водах повесившаго всю землю неодолимо, тварь, видяще на лобнем висима, ужасом многим содрогашеся...»

Я бы наверняка всплакнул, если бы не помогал нести гроб. Но гроб был тяжел, а идти нужно было в *ногу*, и плакать было невозможно.

Сколько лет прошло с тех пор? Да немногим меньше, чем количество лет, вообще прожитых мною к тому времени. То есть я без малого прожил еще одну такую же жизнь с тех пор. С тех пор я видел очень много священников. И хоронил многих. Причем и обмывал, и облачал многих собственноручно. Это дико звучит, но я люблю молиться об усопших священниках, люблю ночью читать над усопшими иереями Евангелие. Они входили во святое святых. Они носили льняной ефод. Они совершали ходатайство о словесных овцах.

Царство им всем Небесное. Но отец Василий до сих пор остается в моей душе как лучший священник. И это, как ни крути, хоть что-нибудь, но значит.

Я думаю даже, что малый объем моих знаний о нем — тоже благо. Ну, знал бы я больше, ну общался бы с ним дольше, что из этого? Увеличение фактических знаний само по себе ни к чему не приводит. И сами факты без интерпретации совершенно бесполезны. Они никогда и никому ничего *не* доказывают. Они просто лежат перед тобой, как куча камней, которую не объедешь, и каждый таскает из этой кучи то, что ему нравится.

Факты могут мешать, мозолить глаза, заслонять собою суть событий. Они могут пытаться переубедить душу, разуверить ее в том, что она угадала и почувствовала.

Что-то почувствовала моя душа в этом священнике, который чем-то был похож на моего покойного дедушку. И того, что я знаю о нем, мне вполне хватает, чтобы по временам говорить: «Упокой, Господи, душу раба Твоего» — с таким чувством, что молишься о родном человеке

Помогите Иисусу Христу

В одном большом селе, где была одна церковь и два магазина, возле клуба на доске объявлений появился плакат: «Помогите Иисусу Христу!» Плакат был написан от руки тушью на большом куске ватмана. Внизу приписка: «Сбор добровольцев в 16.00 во дворе храма», а в правом верхнем углу мелкими буквами: «Срочно всем, всем, всем!»

Уже в половине четвертого во дворе церкви былолюдно. Пришло много женщин с едой и лекарствами. Они шептались между собою о том, что Иисус, быть может, пришел опять на землю. И какое счастье, что именно к ним. Может быть, Он голоден или болен? Каждая готова была взять Его к себе в дом, разве что боялись мужей. Еще бы! Эти грубияны не читают Евангелие, а по воскресеньям идут не в храм, а на охоту или рыбалку.

Впрочем, и мужчин собралось немало. Они несли на тяжелых и загорелых руках кто винтовку, кто тесак, кто топор. Быть может, думали они, Христу нужны наши сильные руки?

Ровно в четыре дверь храма со скрипом открылась и наружу вышел священник. Народ замер и, вытянув шеи, желая разглядеть за спиной у пастыря готовящегося выйти Господа. Но за спиной была лишь открытая дверь и полумрак церкви.

— Люди, — сказал священник громко, — слушайте!

Народ замер. Все дышали в полвздоха, и, если б можно, перебили бы всех коров, как раз замычавших на дальнем выгоне.

— Вы знаете сами, и я говорил вам об этом часто, — продолжил священник, — что Господь наш Иисус Христос покорил мир, но не мечом, не огнем, не деньгами и не интригами. Он покорил мир любовью и проповедью. Ангелы удивлялись этому и просили: «Разрешите, мы накажем грешников». Но Господь отвечал: «Нет, потерпите». Тогда Ангелы сказали: «Дай и нам возможность проповедовать и быть за это увенчанными». Но Господь сказал: «Это сделают люди». Содрогнулись Ангелы и в страхе сказали: «Но ведь люди слабы и непостоянны. Они болеют и умирают. Слаба их память, и мягкое у них сердце». Но Господь сказал: «Я верю людям. Я Сам стал человеком. Потрудятся Петр и Павел. Потом придут другие». После этого Ангелы больше не спрашивали, а Господь больше не отвечал. Но Его очи и очи Ангелов с тех пор смотрят на землю внимательно.

Голос священника зазвучал громче:

— Кто из нас готов помочь Иисусу Христу разнести по Вселенной Его Евангелие?

— Далеко ли нужно идти и на каком языке проповедовать? — спросил один из стариков.

— Для начала, — ответил священник, — простите друг другу долги, помиритесь с обидчиками и покайтесь, если кто утаил чужое или изменил жене!

Шум пробежал меж людей, как рябь пробегает от ветра по поверхности озера.

— Потом мы объявим пост и будем усердно молиться. Выберем способных юношей и отправим их учиться языкам, чтобы затем пойти во все страны с проповедью. Мы будем помогать тому из нас, кто болен, научим всех петь псалмы. Затем закроем кабак...

На слове «кабак» шум мужских голосов перекрыл голос священника.

— Ты обманул нас, отец. Мы пришли помочь Самому Иисусу, а видим тебя и слушаем то, что ты по воскресеньям рассказываешь нашим женам.

Мужики, ворча и поругиваясь, стали медленно расходиться. Некоторые досадно сплевывали.

— Но ведь Бог благословит наши пашни. Ваши дети будут здоровы! — закричал священник. — Все жители Неба о нас порадуются...

Мужчины медленно, но уверенно расходились. За ними потянулись женщины. Через десять минут площадь перед церковью опустела. Мычали коровы, кричал петух, но голоса их никого не раздражали.

Священник вошел в алтарь. Весь тот вечер и ночь он пролежал перед Престолом опустив на землю лицо. Он прослужил в том селе еще лет пятнадцать. На его глазах и через его сердце прошли крестины и похороны, неурожай, болезни, падеж скота, драки соседей из-

за передвинутой межи. Служить и молиться он любил. Только вот никогда с тех пор больше не проповедовал.

Потом его куда-то перевели. Люди повздыхали, пожалели и забыли. Потом и Бог забыл село. Оно как-то скисло, поредело, а затем исчезло. Забылось даже имя села. Да и как ему не забыться, если ни район, ни ближайший город, ни сама страна, где все произошло, ни у кого не удержались в памяти.

Бедный он всегда бедный

Чтобы человеку среднего достатка почувствовать себя бедняком, нужно зайти в большой магазин. Или в маленький, но тогда — дорогой. Или в обычные магазины, но — часто.

Елки-палки, шел себе, ни о чем не думал, был доволен жизнью, и вдруг — раз, и почувствовал себя нищим. Ничего не хотел, пока ничего не видел. Потом вдруг увидел и все захотел.

Так я гулял по одному городу в Прибалтике (какому — не скажу). Чуть не сказал «по одному небольшому городу», как будто там есть большие города.

Это уже была граница. Уже были визы, таможенные сборы, декларации. А ведь я бывал там еще школьником. Ходил с экскурсией по всевозможным улочкам и соборам, дышал заплесневелым воздухом и впитывал впечатления.

А теперь оказался там опять на пару дней по личным делам и снова ходил по тем же улочкам, вспоминал детство и вглядывался в лица прохожих.

Ходить по магазинам я ненавижу. Выбирать, присматриваться для меня так же тяжело, как для приговоренного к повешению выбирать себе веревку. Но если уж я дорвусь до покупок — держите меня! Легче будет вытащить из-за стола с зеленым сукном заядлого картежника, чем меня оттащить от покупок. И накоплю же всякой дряни, так что месяц будет стыдно, но не успокоюсь.

Так было и в тот раз. Славянская моя душа презрительно отворачивалась от витрин и созерцала шпили соборов и порхающих голубей. Но так было лишь до первого захода в магазин. Стоило мне зайти в магазин мыла, как я вышел из него с полным кульком пахучего товара и без четверти денег в кармане. Потом был магазин сувениров, магазин янтаря, магазин с бальзамами (впрочем, я обещал не говорить, в каком городе был).

К вечеру, когда солнце лизнуло красным языком своим шпили церковей и черепицу крыш и закатилось на отдых, когда ночь вывела на улицу одних людей и накрыла других одеялом законного отдыха, я остался на улице чужого города. До поезда оставалось еще три часа.

Злой на себя за дурно потраченные деньги, я пошел на вокзал пешком. Есть и такое в славянской душе — проиграв миллион, экономить на спичках. И вот по дороге, когда до вокзала оставалось идти минут десять, увидел я магазин чая. Чай мне нужен был, как зайцу стоп-сигнал. Но привлекло то, что там люди не только покупали, но и пили чай.

— Здравствуйте.

Ни одна душа не отреагировала, как будто сговорившись. «Гады, националисты», — подумал я, и к букету испорченного настроения добавилась еще одна пикантная нотка.

Можно чаю?

— Зеленого, черного? С жасмином, с бергамотом, с липой? С сахаром, с медом...

— С медом, — выпалил я, потому что понял — если продавщицу не прервать, то бесстрастно произносимый ряд товаров и услуг будет звучать до отхода моего поезда.

Она назвала цену и стала заваривать чай. Я прислонил к стене кульки и расстегнул пару пуговиц на плаще.

Минуты через две чай мне подал юноша лет шестнадцати, голубоглазый и курчавый, похожий на мать.

— Ваш сын? — спросил я от нечего делать.

— Да, — буркнула хозяйка, давая понять, что не хочет вступать в разговор.

В это время двери хлопнули, и из магазина вышел последний кроме меня посетитель. Было уже довольно поздно.

— Вы гость? — неожиданно спросила хозяйка, энергично вытирая прилавок.

— Да, — ответил я, тоже давая понять, что не желаю продолжать разговор.

— Вам понравился наш город?

— Ужасно, — сказал я, и в этом не было ни капли неправды.

Вы купили, я вижу, много подарков. Может, купите у меня несколько пачек чаю? Есть чай из Цейлона, Индии, Китая...

Нет, нет. Поверьте, я люблю чай, но сильно потратился и не могу купить ничего, кроме постели в поезде.

Ладно, — сказала хозяйка и продолжила остервенелое и молча протирать прилавок.

Лимон плавал на поверхности, чай дымился, а я дул на него, потому, что не умею пить горячее.

У вас есть дети? — спросила вдруг хозяйка.

— Да. Двое. Девочки.

— Вы счастливый человек.

— Согласен. Но ведь и вы счастливы. У вас есть сын.

— Мой сын... — Она произнесла эти слова мечтательно и мягко. Потом, будто вспомнив, что здесь посторонние, добавила сдержаннее: — Это мое счастье и моя опора. Вы похожи на доктора, — продолжала она. — Я пожал в ответ плечами. — И мне хочется поделиться с вами тем, что у меня на душе.

— Я — незнакомый вам иностранец.

— Тем лучше. Вы никому не расскажете и, может, никогда больше не будете в нашем городе.

Я пил чай, а она продолжала:

— Я хотела его убить. Его отец бросил меня, и я хотела сделать аборт. Подруга договорилась с доктором, тетя дала деньги, и я пошла в больницу. Мне было лег двадцать. Никто ни о чем ни разу не говорил со мной серьезно. Что я могла понимать? И вот я вхожу в кабинет, ложусь по приказу на кресло...

Она все терла уже сияющий прилавок и не подымая глаз продолжала рассказ. Из подсобки слышно было, как мыл стаканы и что-то мурлыкал под нос ее сын.

— А за окном больницы — храм. И там начинается служба. Был какой-то праздник. И вдруг начинают звонить колокола! Звон врывается в кабинет, а я лежу на кресле с расставленными ногами. Доктор гремит рядом своими хирургическими инструментами... И вдруг какая-то сила подбрасывает меня на ноги, я одеваюсь на ходу и пулей вылетаю из кабинета. Этот звон стоит в моих ушах до сегодняшнего дня. Я слышу его каждый раз, когда смотрю на моего мальчика. Страшно подумать, что его могло бы не быть рядом со мной.

Мой чай остывал. Я пил его и смотрел на женщину, которая, казалось, разговаривала сама с собой и вытирала прилавок.

— Спасибо. Мне пора на поезд.

— Жаль, что вы ничего не купили у меня для своих девочек. Но все равно, будьте здоровы.

Я вышел из магазина и поспешил на вокзал.

В поезд я вошел за две минуты до отправления

Старик

Последние два месяца наш маленький городок не знал покоя. Все началось с того, что на улицах городка появился незнакомый старик. Он был одет в старую, но аккуратно выстиранную и заплатавшую одежду. Милостыню не просил, хотя ему и совали в руку то медяк, то мелкую банкноту. День за днем он часами просиживал на рыночной площади, а ночью его видели то уходящим в поле за город, то стоящим на коленях у закрытых ворот кафедрального собора.

Городок у нас маленький, и новому человеку в нем затеряться невозможно. Но вместе с тем люди наши Воспитанные и с лишними вопросами никогда к человеку не пристанут. Незнакомый старик мог прожить до смерти и умереть в нашем добром городке, так ни с кем и не познакомившись. Мы похоронили бы его за счет магистрата и потихоньку бы забыли о нем. Но случилось нечто.

Старика полюбили дети. Они что-то почувствовали в нем и, как только занятия в школе заканчивались, бежали целыми ватагами, чтобы с ним пообщаться.

Старик уводил их на пустырь за город и там проводил с ними долгие часы. Тех, что помладше, он мог взять на колени. Старшие обступали его полукругом, и он говорил с детьми. В нашем городе старик стал еще одним, кроме школьных учителей, взрослым, говорящим с подростками.

В наш век родители слишком заняты, чтобы интересоваться жизнью детей. «Лишь бы штаны на коленях не были протерты до дыр да изо рта табаком не пахло, — думали взрослые, — а общаются пусть со сверстниками и с телевизором». Но скоро что-то похожее на ревность шевельнулось в сердцах отцов и матерей. Дети с любовью называли старика

«наш дедушка». «Твой дедушка давно умер», — объясняли одни. «Твой дедушка в доме для престарелых», — нервничали другие. Дети пожимали плечами и искали повод, чтобы ускользнуть из дома.

Давно забытые слова «верность», «жертвенность», «благодать» стали проскальзывать в детской речи. Некоторые отцы стали хмурить брови, кое-кто даже порывался снять ремень... «О чем он с вами говорит?» — допытывались взрослые.

Не сговариваясь, дети отвечали: «Он рассказывает нам интересные истории».

* * *

— Мы должны знать, чему ты учишь наших детей!

— Мы перестали узнавать наших сыновей!

— Откуда ты пришел? Чего тебе здесь надо?

Толпа из тридцати человек окружила старика в то время, когда он сидел на песке с двумя мальчишками и что-то увлеченно им рассказывал.

— Песок теплый, — отвечал старик, — садитесь рядом, и я расскажу вам что-нибудь из того, что видел за долгую жизнь.

Сердца у наших людей мягкие. Долго сердиться они не умеют. Один за одним все сели на теплый песок и устремили настороженные и любопытные взоры на старика.

— В одной стране, — начал тот, — я видел людей, ненавидевших золото и любивших навоз. Если им случалось найти серебряную бабушкину брошку или сережку с крохотным бриллианчиком, они с торжественными криками и смехом шли к городской уборной и бросали драгоценность туда — в нечистоты. Зато грязь и гниль они брали в руки, подносили к солнечному свету, рассматривали и принимались...

- И эту чушь ты рассказываешь нашим детям? — не крикнула одна из мам.

- Нет. Детям я рассказываю более приятные вещи, а это история для взрослых. — сказал старик и добавил: — Она про вас.

- Что-о-о? — обижено протянули двадцать взрослых человек.

С тех пор как я стал одинок (старик прокашлялся и вытер слезу), я обошел много стран и везде видел одно и то же. В иных краях люди жили в коробках из-под телевизоров и ели то, что не всякая собака съест. А в некоторых — люди мыли шампунем тротуары и по субботам выбрасывали из холодильника на мусор тонны хороших продуктов. Но не это мучило меня. Сердце мое болело от того, что люди, жившие в роскоши, гордились собой. Они указывали на свои машины, телефоны, спутники и думали, что это — их слава и оправдание. А я плакал о них. — Старик за- молчал и затем продолжил: — Если бы они показали мне страну, где мужья не изменяют женам, а жены не убивают в утробе детей. Если бы они хвалились тем, что треть денег отдают бедным, а не тем, что летают в космос...

— А где есть такие люди? — раздался вызывающий голос.

— Я не знаю, где они сейчас. Но я знаю, где они были, и об этом рассказываю вашим детям.

— Интересно было бы послушать.

— Слушайте.

* * *

— Было время, когда христиане платили за молитву и веру кровью. Язычники не понимали этой новой секты, боялись ее, выдумывали про нее небылицы. Больше всего удивление вызывало то, что христиане боялись совершить грех, как будто им за это угрожает пытка. Они так боялись блуда или воровства, как редкий вор боится отсечения обеих рук. Сначала это просто удивляло. Потом язычники сделали свои особенные выводы. Ad leonem — ко львам, — сначала кричали они. Al leonem — в блудилище, — стали они кричать, когда поняли, что христиане больше боятся греха, чем смерти.

Римская империя была велика. Чтобы легче ею управлять, империю разделили на две части. Центр восточной части был в городе Никомидия. Среди христиан этого города была девушка по имени Евфрасия. Ее хотели опорочить за нежелание служить римским богам и решили отдать на поругание солдатам.

Старик замолчал, как бы подбирая слова. Родители смотрели на него внимательно.

— Девушка была мудра. Она знала, что любой солдат боится смерти и хочет быть неуязвим.

«Пойдем со мной, — сказала она. — Я знаю траву, снадобье из которой защищает человека от любого оружия. Но рвать ее может только девица. В руках женщины трава теряет силу». Солдат согласился, и они вышли в лес. Евфрасия нарвала любой травы, попавшейся под руку, перетерла ее в руках и сплетенный венок положила себе на шею. «Проверь ее силу, — сказала она солдату. — Бей меня по шее мечом изо всей силы. Вот увидишь, меч отскочит, как от камня». Солдат взмахнул мечом, и голова девушки покатилась по земле.

Воцарилось молчание. Потом кто-то робко спросил:

— И что она выиграла?

— Она ушла к Богу чистой, — сказал старик.

— Она умерла и осталась лежать обезглавленной, — возразил один из слушателей.

— Ее душа чистой ушла к Богу, — раздался детский голос. Один из малышей не ушел и, затесавшись среди взрослых, слушал их разговор.

— А ну марш отсюда! — раздалось возмущенные голоса взрослых.

— Не прогоняйте его, — заступился старик. — Вы сомневаетесь в том, что слышите, потому что вы многое потеряли. А они знают, что это правда, и впитывают ее как воду.

— Расскажите нам еще что-нибудь, — робко попросила молодая женщина и, обведя взглядом взрослых, добавила: — Ведь это интересно, правда?

— С удовольствием, — сказал старик и продолжил рассказ.

На севере Африки, там, где Средиземное море разбивается в пену о берег, стоит город Александрия. Даже во времена седой древности он был в сотни раз многолюднее вашего милого городка. Там было много купцов и ремесленников. Много храмов и дворцов. И самая большая в мире библиотека. Но из роскоши часто рождается грех, как и из плесени

выползают мокрицы. В городе было много блудниц. Одни были жертвами обмана и несправедливости, другие — рабынями лени и похоти. Они ежедневно умирали духовной смертью и помогали умирать другим. Ими пользовались и их презирали, но никто не плакал о них. А ведь жить можно только если о тебе плачут.

И вдруг в город пришел старый монах. Его звали Виталий. Что привело его и как родились в нем мысли, которые он воплотил, мы не знаем. Но только Виталий переписал имена всех блудниц города и стал за них молиться. А еще он стал наниматься на грязные и тяжелые работы, чтобы с несколькими монетами отправиться вечером в одно из блудилищ.

— Что он там делал? — спросила одна из мам. Кто-то из мужчин хотел пошутить, но на него посмотрели строго и он осекся.

Он приходил к одной из женщин, — продолжал старик, — платил ей за ночь и говорил: ложись спать, а я помолюсь за тебя.

Утром, уходя, он давал ей еще монету со словами: «Прошу тебя, останься в чистоте еще ночь».

Так поступал он изо дня в день несколько лет. Люди считали его блудником, а женщины не разглашали тайны о его подвиге, потому что с них он брал клятву молчания.

Во многих блудницах дрогнуло сердце. Во многих заговорила совесть. Прежде бесстыдные и шумные, они все чаще не открывали приходившим дверей, ссылаясь на нездоровье. В некоторых комнатах появилась Псалтирь. В некоторых по ночам были слышны слезы.

— Чем все закончилось?

— Я не буду вам рассказывать всего. Пускай у вас останется жажда. Скажу только, что Виталий умер и подвиг его стал известен. Люди плакали от удивления и радости и благословляли Бога за то, что есть на земле такие человеколюбивые герои.

Воцарилась глубокая тишина. Кто-то из женщин вытирал слезы.

— Уже поздно, — нарушил тишину рассказчик. — Если ваши сердца согрелись, то я не даром прожил этот день.

Когда взрослые расходились, в спину им раздался тихий голос:

— Прошу вас, не запрещайте детям приходиться ко мне.

Вечером, шушукаясь на кухнях, отцы и матери говорили друг другу:

— Где-то я это уже слышал — не запрещайте детям приходиться ко мне.

Старик не долго еще потом пожил у нас. Недели через две он исчез так же незаметно, как и появился.

Дети к нему привязались. Они плакали, когда он ушел, везде его искали и даже молились, чтобы он вернулся.

Но старик пропал без следа.

Все это случилось за полгода до страшного землетрясения. Пять городов в нашей округе были стерты до основания, а некоторые просто ушли под землю.

По счастливой случайности наш городок остался цел и невредим. Только в доме местного патера обвалилась крыша да трещина разделила надвое здание ночного клуба.

Согретые Пасхой

Балканы. Сербская деревушка, XIV век. Стоян был самым красивым юношей не только в своей деревне, но и в ее окрестностях. Высокий, чернобровый, с уже покрытой черным пушком верхней губой, он давно заставлял тревожно биться не одно девичье сердце. Родители его умерли, и юноша жил в доме дяди-кожевника. Местные турки тоже любили Стояна, а кади¹ и вовсе часто звал парня к себе и подолгу с ним беседовал, угощая сладостями.

То ли кади был хитрый, то ли Стоян глупый, то ли некому было его уберечь, но решил он принять ислам. Кади уговорил. Сербы поплакали, турки порадовались, а потом жизнь потекла своим чередом.

Наступила Пасха. Светозарная ночь опустилась на Балканы. В каждом христианском селе горели свечи и радостью светились глаза людей. Сулейман — так теперь звали Стояна — не мог уснуть. Он вышел на улицу, и ноги сами повели его к храму. Там только что закончилась полунощница, и крестный ход с иконами и хоругвями уже выходил на улицу. Медленно и торжественно три раза обошли люди церковь. И вот в ночной тишине раздался громкий голос священника:

— Слава Святей Единосущней и Животворящей Троице! — Сотни душ ответили «аминь», и в воздухе раздалось победное: «Христос Воскресе из мертвых!»

Сердце, как пойманная в сети голубка, забилося в груди Сулеймана. Ни о чем не думая, он побежал к людям, чтобы присоединить свой голос к их хору, чтобы обняться с ними и разделить их радость. Каков же был его ужас, когда он увидел, что все от мала до велика сторонятся его, как прокаженного. Он понял, что нарушил их радость, и на возмущенных лицах читал: «Ты не наш».

— Скажи, кади, если кто-то продал мне свинец вместо серебра, а я по неопытности купил его, законна ли эта сделка?

Судья сидел на мягких подушках и, глядя в окно, перебирал четки.

— Нет, сынок, эта сделка незаконна.

— Могу ли я отдать свинец и забрать свое серебро?

— Можешь, сынок, — сказал кади, неподвижно глядя на дерево за окном. Но уже через секунду его глаза расширились, а лицо изобразило смесь ужаса и удивления. Его приемный сын, его ученик Сулейман снял с себя турецкую феску, бросил под ноги и, наступив на нее обеими ногами, сказал:

¹ Кади – судья в мусульманских странах

— Забирайте свой свинец и своего Магомета. Отдайте мне мое серебро — моего Христа.

Стояна казнили на следующий день. Сначала его сильно избили, но быстро поняли, что это не поможет. Потом хотели морить голодом, но у парня в глазах было написано, что и этого он не боится. Спешили: нужно было не дать христианам окрестных сел узнать об отречении и собраться вместе. Дело могло перерасти в бунт. Поэтому юношу и судили, и обезглавили быстро.

Он вел себя смело и даже не дал завязать себе руки. Только сильно побледнел, когда увидел палача с обнаженной саблей. Были бы живы мать и отец, не избежать бы истерик и крика. А так сотни пар глаз молча и внимательно смотрели на юношу. Кто-то шептал молитву, чьи-то руки перебирали четки, кто-то лишился чувств. А турки спешили, потому что знали - кто-то мог сжимать кулаки или греть в широкой ладони рукоятку ножа.

Когда голова отделилась от тела, народ охнул и стал креститься. Мертвый он был еще красивей, чем живой. Черные глаза его были открыты, и даже не знающий грамоту мог прочитать в них надежду и молитву юноши к Тому, за Чье имя он только что умер.

* * *

В Болгарии, Греции, Сербии подобные истории не были редкостью. Пятьсот лет, шутка ли сказать — полтысячелетия — христиане здесь платили за веру кровью. Подробный курс истории Христианской Церкви никто из них не читал. Может быть, имена Траяна, Нерона, Веспасиана значили для них не больше, чем для нас — фамилии китайских писателей. Но чашу мучеников они испили до дна, и опыт их был тождествен. И тех и других согревала Пасха. Не иудейская, с печеным ягненком и горькими травами, а христианская — с ночным торжеством и чувством того, что стоишь на пороге Вечности. В этом опыте стиралась грань между мирянами, духовенством и монашествующими. Перед лицом смертельных угроз пасхальная радость была общей и питала всех одинаково.

Когда молодая римлянка Перпетуя вздрагивала всем телом от звука лязгающего замка и открывающейся двери в ее темницу, то стражники улыбаясь бурчали: —Что ты будешь делать там, когда увидишь зверей на арене или разложенные перед тобой орудия пыток?

— Там, — отвечала молодая женщина, — во мне будет Другой, Который вместо меня перетерпит мои муки. Другой был со всеми и везде, где только ни лилась кровь за Его имя. Чтобы умереть за Него, мало верить верой философов и верой ученых. Нужно верить верой Авраама, Исаака и Иакова, верой Петра и Павла, верой Стефана. Эту веру рождает Пасха.

I век в Риме, XVII в Греции, XX в России... За Христа умерло и в Нем воскресло множество людей, ныне душами собравшихся воедино. Хлеб в виде зерен рассеивается по полям, чтобы потом собраться в одно в виде свежей горячей буханки. Святые живут в разных странах и в разное время, носят разную одежду и говорят на разных языках. Но имя Иисуса им понятно, кто бы его ни произнес. Сегодня они в белых одеждах стоят перед Престолом Агнца. Они пришли от великой скорби, и одежды их белы оттого, что вымыты кровью Безгрешного.

Есть смысл всмотреться в сияющие лица богомольцев на наших пасхальных всенощных, в нашем третьем тысячелетии. Возможно, мы смотрим в лица еще не прославленных святых, на иконы, еще не ставшие чудотворными...

Страна Чудес

Вторую ночь подряд Петрович спал вполглаза. С боку на бок не ворочался и курить не вставал, но просыпался часто. Лежал, глядя на огонек фонаря за окном, и думал. Потом забывался коротким сном, чтобы через час опять проснуться. Его, Павла Петровича Дронова, водителя с тридцатилетним стажем, мужика, разменявшего полтинник, вот уже вторую ночь подряд тревожили слова, услышанные на проповеди.

Дело было в июле, в день праздника святых апостолов. Петрович, будучи двойным именинником (лично и но батюшке), решил пойти на службу. Во-первых, теща пристала: походи да походи. Во-вторых, храм и микрорайон был Петропавловский. А в-третьих, хватит, подумал Петрович, в гараже да во дворе с мужиками водкой баловаться, можно на именины разок и в церковь сходить. Эта неожиданная и благая мысль пришла Павлу Петровичу еще и потому, что именины были юбилейные. Дронову стукнуло пятьдесят. Но об этом он думать не хотел, а потому в число причин юбилейную дату помещать отказался.

В церкви, как всегда на праздник, народу было — не протолкнешься. Дронов стоял возле аналоя с иконой Петра и Павла, и ему, изрядно сдавленному богомольцами, часто передавали свечи с коротким «к празднику». Жара и многолюдство сделали свое дело. Петрович, толком не знавший службу и не умевший вникать в общую молитву, скоро устал и раскаялся в том, что именины праздновал по-новому, а не как обычно. Он бы и ушел давно, но до дверей было далеко и иначе как с боем сквозь толпу прихожан было не пройти. Полегчало, когда запели «Верую». Петрович басил с народом те слова Символа, которые знал, и чувствовал при этом какую-то бодрящую и неизвестную радость, от которой хотелось то ли заплакать, то ли всех обнять. То лее повторилось и на «Отче наш». А потом произошло то, что впоследствии отняло сон у пятидесятилетнего водителя Павла Петровича Дронова, человека, сгибавшего пальцами гвоздь-сотку и сентиментальностью не отличавшегося.

* * *

Священник что-то сказал из алтаря и замолчал. Завеса закрылась. Вышел мальчик в длинной одежде и поставил перед закрытыми воротами свечу. Народ как-то сразу засуетился, задвигался, зашумел. Петрович подумал, что самое время из храма выйти, но услышал громкое «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и решил остаться. Проповеди он слышал и раньше. Стараниями драгоценной тещи, маленькой старушки, одновременно и вредной, и набожной, Дронов переслушал в машине немало кассет. Великим постом, опять же по просьбе тещи, ходил он воскресными вечерами в храм слушать о страданиях Иисуса Христа. Но проповеди ему не нравились. Не нравился тон, и мужественный и крикливый. Не нравились слова ироде «возлюбленные о Господе» или «дорогие мои». Павел Петрович дожил уже до тех лет, когда слова любви больше раздражают, чем согревают. То, что люди живут по привычке и без радости, то, что никто никого особо не любит, а батюшки исключением не являются, Петрович понимал давно и давно с этим смирился.

Но в этот раз слова священника Дронова зацепили. Священник был незнакомый, видно, пришел в гости на праздник. Видом — не святой: ростом выше среднего, крупный. Помоложе Петровича, но и не «деточка» («деточками» называла теща Петровича тех щуплых и безбородых молодых батюшек, которых так часто можно увидеть в наших строящихся или реставрируемых храмах).

Священник начал говорить о Петре и Павле, но быстро сменил тему и продолжил уже о Христе. О том, что Христос жив и что Он вовеки Тот же. О том, что Он ближе к нам, чем воздух, которым мы дышим, и одежда, которую мы носим. При слове об одежде Павел Петрович повел плечами, почувствовал, как прилипла к спине намокшая от пота рубашка, но и место духоты ощутил на лице прохладное дуновение, почти дыхание.

Священник продолжал о том, что Христос послужил нам, отдал всего Себя даже до излития крови, и мы теперь тоже должны послужить Ему.

— Но где я найду Тебя, Господи? — громко произнес проповедник и остановился.

Храм замер и затаив дыхание ждал ответа.

— Ты рядом. — громко продолжал проповедник. — Ты - в каждом ближнем моем. Если Ты в больнице, и могу укрыть Тебя одеялом и посидеть ночь у Твоего изголовья. Если Ты раздет, я могу отдать Тебе свой пиджак или свитер. Я могу защищать и лечить, кормить и утешать Тебя, потому что все сделанное мною ближним Ты отнесешь лично к Себе.

Павел Петрович слушал внимательно. Его голова была пуста, потому что ум, кажется, покинул ее и переместился сантиметров на тридцать ниже. Остановившись где-то в области груди, ум вместе с сердцем впитывал слова священника так, как сухая земля впитывает воду. Проповедь закончилась тем, что батюшка назвал блаженными всех медсестер, милиционеров, пожарных, поваров — всех тех, кто постоянно учит, лечит, кормит и спасает людей, а значит, ежедневно служат Христу так, как они могут служить.

Заканчивал священник уже не так связно и горячо. Один за другим заплакали на руках мамаш несколько младенцев. Народ опять заерзал и зашептался. Священник сказал «аминь» и как-то боком, неловко вернулся в алтарь. Вскоре отодвинули завесу и началось причащение. А Петрович вышел в образовавшийся проход и, перекрестившись на храм, пошел домой. Он не знал, да и не мог знать, что был единственным человеком, проникшимся словами проповеди. Все остальные прихожане к вечеру забудут то, что слышали утром, и будут спать спокойно.

В тот праздничный день евангельский невод, брошенный незнакомым батюшкой в храме Петра и Павла, вытащил из глубины на берег только одну рыбу. Этой рыбой был отпраздновавший пятидесятилетие Павел Петрович Дронов, таксист с тридцатилетним стажем, человек, не отличавшийся сентиментальностью.

Вторая ночь раздумий уже близилась к рассвету. «Не хирург, не офицер, не учитель», — думал про себя Петрович, перебирая в голове список профессий, основанных на человеколюбии.

Я — таксист! — вдруг громко сказал, почти крикнул Дронов и сел на кровать, тихо добавив: — Мать тою...

От звука его голоса проснулась жена и, не открывая глаз, сонно затараторила:

— А? Что? Паша, что случилось?

— Ничего, спи.

Дронов пошел на кухню за сигаретами, закурил и вышел на балкон (курить в квартире категорически запрещала теща). Фонари уже погасли. Воздух становился серым, и первые машины уже то и дело пролетали мимо сонных девятиэтажек, шурша шинами и явно наслаждаясь пустотой дороги. Дронов глубоко затягивался и медленно повторял одну фразу:

— Я вожу Христа... я вожу Христа...

Смысловое ударение он делал на втором слове: не лечу, не защищаю, а именно вожу. Он начал представлять себе лица реальных и возможных пассажиров: спешащих на вокзал, не успевающих на работу, целующихся на заднем сиденье... Всех тех, кто от привычки к комфорту или от страха опоздать стоит на тротуаре и, вытянув правую руку, с надеждой смотрит на приближающуюся машину Дронова. Они часто сжимают кулак, а большой палец отставляют так, будто стоят не на тротуаре, а на трибуне амфитеатра и дарят жизнь раненому гладиатору.

Дронов не любил пассажиров. Последнее время он заметил, что люди стали более наглыми и вместе с тем жадными. Он докурил и шелчком отбросил окурочок далеко от балкона.

— Я вожу Христа. — еще раз, как мантру, твердо произнес Петрович и ощутил смысл произнесенной фразы. Теперь акцент падал на последнее слово, на имя. Тысячи людей, которых он до сих пор возил, по сути являлись одним Человеком. Только Дронов этого не знал, не думал об этом, а значит, прошлое не считается. Все эти лица способны составить огромный коллаж, играли роль завесы, перегородки. Они отвлекали своим многообразием и прятали того Одного Пассажира, с помощью Которого все можно было собрать воедино и осмыслить. Собственно, Сам Христос играл с Дроновым в прятки. Он ежедневно клал Петровичу в багажник чемоданы и авоськи, торговался за сдачу, просил поторопиться, называл неправильные адреса и терпеливо ждал того момента, когда Петрович наконец поймет, Кого же он возит.

Петрович понял. Он понял, что теперь нельзя возить иностранцев кругами по всему городу, чтоб содрать с них в пять раз больше денег. Нельзя задерживаться на вызове, проезжать мимо бедно одетых людей, заламывать непомерные цены. Нужно делать все правильно, потому что это касается непосредственно Бога. При таком отношении к работе, образно говоря, Дронов мог бы за тридцать лет обеспечить место в раю не только себе, но и своей «старушке» — двадцать первой «Волге», на которой намотал не одну сотню тысяч километров. Мог бы... Ему пятьдесят. В таком возрасте менять жизнь — дело нелегкое.

— И надо оно мне было — переться тогда в церковь? — спросил себя Петрович и пошел в ванную.

Спать уже было поздно, и он решил принять душ. Но горячей воды не было. Смысл жизни, недавно узанный Дроновым, работником котельни все еще был неизвестен. Им пока невдомек, что горячая вода в трубах и батареях нужна для того, чтобы Христу было тепло и комфортно. Поэтому аварии случались регулярно и при многочасовых перекурах котельни не ремонтировались неделями. Петрович умылся, пошел на кухню и поставил чайник на огонь. За окном уже рассвело. День обещал быть ясным. Этот, казалось, обычный рабочий день в своей многолетней шоферской биографии Петровичу предстояло впервые провести по-новому.

Самая простая мысль — возить людей бесплатно — оказалась невыполнимой. В-первых, боясь подвоха, люди отказывались ехать даром. Они устраивали с Петровичем борцовские схватки, пытаясь засунуть ему деньги в карман, или просто выходя оставляли их на сиденье. Догонять пассажиров или объяснять им мотивы своего поведения было глупо. Даже супруге Петрович не рассказал о своих внутренних переменах. Он знал: громкие декларации о начале новой жизни заканчиваются поражением в тот же день. Сколько раз он, к примеру, докуривал свою «последнюю» сигарету, обещая бросить курить, но вечером того лее дня или через день покупал очередную пачку. Нет, заявлять ни о чем не надо. Кстати, у жены возник бы резонный вопрос: как он будет содержать семью? Дети, конечно, взрослые и живут отдельно, но ведь и они с Татьяной не ангелы: им есть надо. О том, что набожная теща в сердцах может проклясть его за такую странную перемену, Дронов в глубине души догадывался и думать об этом не хотел.

Был полдень первого дня новой жизни. Пять или шесть клиентов своим поведением уже внесли коррективы в планы Петровича. Он припарковал «старушку» возле станции метрополитена и вышел, чтобы выпить где-то чашку кофе.

В большом городе трудно найти маленькое кафе. Петровича приютил салон игровых автоматов. Внутри был бар, и там варили кофе. Было накурено, дым висел слоями, как отрезки легкой белой материи, поднятые ветром. Автоматы мигали и звенели, а возле них, уставившись оловянными глазами в вертящиеся барабаны, сидели люди. Люди проигрывали зарплаты, пили пиво и мечтали обогатиться. Петрович подумал, что эти лудоманы² в другое время могут быть его пассажирами, а значит, и они — те, отношение к кому оправдывает или осудит его на Страшном Суде. «Все, что сделали им, Мне сделали». Оговорок в законе не было.

Допив кофе, Дронов вышел на улицу. На светофоре собралась большая пробка. Какой-то старенький «форд» заглох посреди дороги. «Баба», — с сердцем сказал про себя Петрович. Как любой нормальный мужик, женщин за рулем он, мягко говоря, недолюбливал. Подойдя ближе, он увидел, что капот открыт и в нем, согнувшись, копошится молодой человек. Объезжая его, водилы высовывались в окна и говорили разные вещи из числа тех, что в кино перекрываются плачущим звуком. Парень не высовывал голову из капота, и было ясно, что он не ремонтирует машину, а, имитируя ремонт, прячется от водительского гнева.

Петрович ясно понял, что должен помочь. Но вместе с этим ясным пониманием он ощутил, что помогать совсем не хочет. Изменение жизненных ценностей с комфортом и удовольствием, оказывается, было никак не связано. Петрович вдруг вспомнил одного коллегу-таксиста, который стал ходить к адвентистам.

«От винтисты» — шутя называл их про себя Дронов. Этот коллега однажды часа два впаривал ему, Петровичу, одну простую мысль: с тех пор как он уверовал, все проблемы ушли прочь. Курить бросил, матом не ругаюсь, жене верен. А главное — полный душевный комфорт. Петрович и тогда делил услышанное на два. Уж больно жаден был мужик и с приходом в адвентизм от жадности, по-видимому, никак не исцелился. Сейчас же он вспомнил коллегу из-за контраста: у того вера рождала комфорт, а у Дронова — проблемы. Может, они в разных Иисусов поверили?»

Короче, Петрович был обязан помочь и вовсе не хотел этого делать.

² Лудомания – болезненная зависимость от азартных игр.

— Чего там? — спросил Дронов у водителя «форда» и а ким тоном, будто сам был хозяином машины.

— Не знаю, — ответил парень. — Может, свечи, а может, еще что...

— Трос есть?

— Есть.

Водитель «форда» засуетился, достал из багажника трос и с благодарно сияющими глазами сказал:

— Мне только до моста. Дотянете? Сколько?

Павел Петрович не ответил. Он молча пошел к «старушке», завел двигатель и с трудом стал выруливать туда, откуда можно было взять «форд» на буксир. Минут через десять они уже ехали: счастливый водитель «форда» и насупленный Павел Петрович. Когда подъехали к месту, парень стал рассыпаться в благодарностях и совать Дронову в руки мятые денежные купюры. Сопротивляться не хотелось. Петрович деньги взял и, сопровождаемый фразами типа «дай вам Бог здоровья», «вы мне так помогли», повел «старушку» куда глаза глядят.

Дронов ехал медленно и думал. А думать было над чем. Во-первых, опыт угождения Христу оказался опытом насилия над собой. Об этом Петрович никогда не думал и нигде не читал. Учитывая то, что жизнь продолжается, перспектива вырисовывалась интересная. Это что же, так всю жизнь и напрягаться?

Во-вторых, когда Петрович цеплял трос и с болью в сердце тащил «форд», слушая, как напрягается и рычит его старенькая «Волга», о Христе он не думал. Пацан, стоявший на перекрестке, в это время у Дронова с Иисусом не ассоциировался. Можно было спросить себя: «Чего ради я вообще взялся помогать?» Но вместе с тем было ясно: не будь той проповеди и тех двух ночей с размышлениями — дули с маком он бы стал помогать первому попавшемуся сопляку.

И, наконец, в-третьих. Была радость, вот только теперь начавшая согревать Петровичу сердце. Радость наполняла грудь теплом и далее мешала ехать. Обычно, когда Дронов радовался, он жал на газ и во все горло пел: «Вот кто-то с горочки спустился». А эта радость как-то не совпадала ни с лихой ездой, ни с популярной песней. Петрович взял вправо, остановился, выключил мотор. Он прислушался к себе и улыбнулся. Если бы кто-то в эти минуты присмотрелся к нему, пятидесятилетнему мужику, могущему согнуть в пальцах гвоздь-сотку, то этот кто-то подумал бы, что Петрович через наушники слушает какую-то очень важную и долгожданную новость. И оттого глаза его ничего не видят, хоть и широко раскрыты, а на лице — блаженная улыбка.

Эх, город, город. Ты взметнулся в небо домами и строительными кранами, но совсем не знаешь об ином Небе, на котором об одном покающемся грешнике все Ангелы радуются. Ты подгреб к себе миллионы людей и смотришь на их свету, как на растревоженный муравейник. Но ты никогда не заметишь в этой толкотне одного остановившегося муравья, ошеломленного чувством вечности. Впрочем, какой с тебя спрос? Ведь и сами снующие муравьи этого, остановившегося, не замечают.

Петрович вышел из машины и осмотрелся. Он тормознул недалеко от маршрутной остановки. Рядом копошился продуктовый рынок, и на остановке стояло немало людей с сумками, полными только что купленной еды. Видно, маршрутки долго не было. Внимание Дронова привлекла одна старуха. Одежда на ней была теплая не по сезону, ее сумка была почти пуста, а сама она стояла согнувшись и опираясь на палку. Глаз не было видно. Их скрывали солнцезащитные очки, но было понятно: если их снять — на вас бы взглянули глаза человека, не знающего, зачем он живет, и уставшего от этой мысли.

Ольга Семеновна — так звали женщину — действительно не знала, зачем она живет. Всего неделю назад она похоронила единственного сына. Костя был трезв и переходил дорогу в положенном месте. А вот джип не только ехал на красный, но и, сбив человека, не остановился.

Невестка после развода жила отдельно и единственную внучку к Ольге Семеновне не пускала. Женщина стояла в ожидании автобуса, но в то же время ехать в пустую квартиру не хотела. Машина, остановившаяся под носом, звуком своих тормозов заставила Ольгу Семеновну вздрогнуть.

— Садись, мать, подвезу.

Народ на остановке оживился. Молодые женщины и девушки, видя подъехавшую «Волгу», были готовы к любой ситуации, но только не к этой. Некоторые из них подумали, что шофер шутит, подтрунивает над бабкой, а на самом деле «кадрит» кого-то из молодых. Одна или две даже заулыбались и одновременно с вызовом и ожиданием уставились на Петровича.

Надо отметить, что Дронов и в свои пятьдесят был красив той мужеской красотой, которая женщинами не созерцается, а чувствуется на расстоянии. Он мог не рассыпаться в комплиментах, быть немногословным и спокойным. Женщины все равно замечали его и к нему тянулись. Но это были дела прошедшие. А сейчас Петрович спрашивал не верящую своим ушам старую женщину, где она живет, и предлагал подвезти.

Ольга Семеновна читала в газетах и слышала по телевизору о разных маньяках и убийцах, со старушками на лавочке песочила наставшие злодейские времена на чем свет стоит, но Дронову она сказала адрес и с большим трудом, кряхтя и охая, залезла в машину. Машина тронулась, оставив позади одних людей улыбающимися, других — пожимающими плечами. По дороге старушка медленно рассказывала свою беду, а Петрович по-шоферски прикидывал, как долго салон его «Волги» будет хранить смешанный запах лекарств, мочи и нафталина.

Когда приехали, Павел Петрович помог женщине выйти и зачем-то сунул ей в руку двадцать долларов («заначка» в правах на всякий случай). Потом, стыдясь собственной доброты и немного жалея об отданных деньгах, сел в машину, сдал назад и лихо выехал из двора. На этот раз ни тепла, ни радости не было. Была жалость к старому человеку, брезгливость от запаха, оставленного этим человеком, и еще сложная смесь из разных чувств, в которых Петрович решил не разбираться. Он уже начал понимать, что попал в такую страну чудес, где далеко не все поддается пониманию.

Зато радость была у Ольги Семеновны. Рассудок говорил ей, что это сон, но двадцать долларов в кармане рассудку противоречили. И еще было тепло в груди и хотелось плакать. Хотелось поблагодарить, поцеловать руку, поклониться. И даже не шоферу (его старушка толком и не разглядела), а кому-то другому.

В тот вечер Ольга Семеновна не включила телевизор и не стала смотреть сериал. Она зажгла возле фотографии сына свечу и долго молча сидела на кухне. Ей было спокойно. Уже совсем поздно, часов и одиннадцать, позвонила невестка и сказала, что завтра приведет Катю — внучку.

У Бога нет мертвых

Мудрость народная предупреждает не зарекаться от сумы и тюрьмы. Кто знает, как жизнь сложится завтра. Кто знает, с кем столкнешься лоб в лоб, глубоко задумавшись и повернув за угол. Я тоже знать не знал, что целых три месяца мне придется прятаться в чужом и незнакомом городе, а чтобы чем-то жить, работать грузчиком в овощном магазине и там же спать, получая еще полставки сторожа. От кого и в каком городе я прятался, и сегодня уже неважно. Важна одна черта моей тамошней жизни, о которой и расскажу.

Через два квартала от нашего магазина располагалось старое городское кладбище. На нем по недостатку места уже давно никого не хоронили. Сквозь могильные плиты проросли деревья, все кладбище утопало в зелени, и я ходил туда гулять в вечерние часы между закрытием магазина и наступлением темноты. Может быть, не в каждом городе мира найдется гражданин с фамилией Рабинович, но зато на большинстве кладбищ в нашей стране найдется еврейское поле. Шумный, неутомный, упертый, пахнувший библейской древностью, красивый и отталкивающий одновременно, самый странный народ на земле разбрелся повсюду и везде оставил следы своего присутствия.

Та кладбищенская часть, где были похоронены евреи, находилась на самом краю, и туда я ходил чаще. Сначала меня привлекли надписи на могилах и портреты умерших. Там были похоронены евреи, служившие в Красной Армии. Те, которые поверили в революцию, повылазили на свет из всех щелей российской провинции и стали под красное знамя. Кого-то из них убили на войне, кто-то до чего-то дослужился. На их могилах надписи были сделаны по-русски, а на фотографиях они были запечатлены в гимнастерках и портупеях. Эти мне нравились меньше всего. Больше нравились старики со странными, иногда смешными для нашего уха именами. Нравились их грустные глаза и длинные бороды. Нравилось, что жены их лежат рядом, и чувствовалось, что при жизни они были нежны какой-то другой нежностью, которая редка среди славян. Там, где надписи были сделаны на иврите, к простому любопытству добавлялся священный интерес, и я подолгу ходил среди могил Корфункеров и Зильберманов, Коганов и Кацев. Как-то не было скучно и было о чем думать, хотя нельзя было предположить, что я додумаюсь до чего-то особенного. Однако додумался.

В каптерке, где я ночевал, было Евангелие. Я открывал его временами на любом месте и читал. Читал, не все понимая, но с удовольствием. Когда чувствовал, что сыт и удовольствие закончилось, — закрывал. И вот однажды поразил меня рассказ о богаче и Лазаре.

Вы не смейтесь над тем, что сторож овощного магазина гуляет на кладбище и читает Евангелие. И Боже вас сохрани думать, что это неправда. Ведь я же не всегда был сторожем и сейчас им не являюсь. Тогда я скрывался, и было от кого. Значит, и дела у меня бывали поважнее, а образование и статус им соответствовали.

Так вот, в рассказе про Лазаря и богача тронула меня одна мысль, а именно: богач в аду переживает о братьях, оставшихся на земле. По опыту мне

было известно, что когда в жизни человека наступает такой кошмар, который мы преждевременно называем адом, то можно перестать думать обо всех, даже о самых близких. Тогда только воешь от душевной боли или дрожишь за свою шкуру. Богач, оказывается, был по-своему хорош. Он, даже попав в потустороннее пламя, сохранил в душе тревогу о родственниках. Трогательна была и просьба о том, чтоб Лазарь намочил перст в воде и прохладил ему язык. Удивило и то, что они за гробом друг друга узнали и что там могут быть длинные разговоры между святыми и грешными, между Авраамом и его потомками. На этих мыслях я и уснул в тот вечер, скрутившись в калачик, как я люблю, на вонючем одеяле синего цвета.

На следующий вечер я опять бродил среди христианских и еврейских могил, пробирался среди ржавых и колючих оград, раздвигал руками заросли папоротника и думал о своем. Мысль о том, что евреи, лежащие вот здесь, где я сейчас хожу, похожи на евангельского богача, а может быть, кто-то из них похож и на Лазаря, пришла ко мне тихо и незаметно. Как бы сама собой. Я даже не остановился, продолжил прогуливаться, но эта мысль вдруг раскрасила евангельский рассказ и даже посягнула на большее. Сильно верующим меня всегда было назвать трудно хотя бы потому, что в жизни этого не видно. Но наученный еще в институте Достоевским, я считал и считаю, что истина — Христос, а если истина не Он, то лучше я буду с Христом, но без истины. То, что евреи в Иисуса Христа не поверили, казалось мне жуткой ошибкой и огромной трагедией. При этом никакой неприязни к этому народу у меня никогда не было.

И вот тут я подумал: ведь там, за гробом, все всех узнали. Увидели люди и Моисея, и Авраама. Увидели и Иисуса Христа и только там поняли свою ошибку. Это ж наверно они теперь просят, чтобы омочил кто-то перст и прохладил им язык. Наверно жалуются, что их неправильно научили или они сами не хотели думать о важном и вот так расплескали жизнь по горстям, кто куда, а теперь мучаются... Мучаются, но о родственниках думать не перестают. Нас они, может, и терпеть не могут, но уж своих-то любить умею. У нас дети поголовно то «тупицы», то «болваны», а у них «Ося всегда хороший мальчик». Так, по крайней мере, я тогда думал и решил следующее: пока жизнь моя непонятна, буду ходить сюда и читать мертвым евреям Евангелие.

С тех пор прошло уже достаточно лет, но я и сегодня удивляюсь тогдашней затее. Сегодня бы я этого не сделал: или побоялся бы, или бы сам себя постыдился. Хотя сегодня я знаю, что решил тогда правильно. Я много потом общался со священниками и читал разные книги. У Бога нет мертвых. Внимание души приковано к месту, где лежит тело, ее и там человек воскреснет. Чтение Евангелия — один из высоких видов молитвы. И несомненно, покойные переживают о живых и хотят, чтобы те не повторяли их ошибки

На работе все было тихо и незаметно, а вот вокруг начало твориться разное всякое. Стало коротить проводку. В магазин повадились местные жулики-малолетки, и ночи перестали быть спокойными. Вдобавок у меня сильно разболелся желудок, и я перестал есть. Зато дома сообщали, что дела решаются и скоро можно будет вернуться. Те, кто искал меня, сами стали скрываться. Мысль о доме согревала.

На кладбище я продолжал ходить и читал там преимущественно Евангелие от Иоанна. Там много таких мест, где Господь обращался к обступавшим его и теснившим иудеям. Он иногда ругал их, иногда учил, иногда грозил и обличал, но они так ничего толком и не понимали. Головы их были напичканы какими-то своими мыслями. А вот черно-белые лица с надгробий смотрели так, будто понимали все, что я читал, и это меня одновременно и пугало, и радовало. Читал я вслух, но негромко. Находил удобное место, прочитывал главу, затем просил у покойников прощения зато, что потревожил, и отходил шагов на двадцать, на другое место.

Так продолжалось недели две. Я уже привык к ним, к тем, кого звали Шломо и Хацкель, к тем, на чьих могилах были написаны слова о скорби родных и выгравирован семисвечник. И тут пришла новость о конце моих скитаний. Можно было пересчитать карманную мелочь и, даже не возвращаясь в каптерку, бежать на вокзал, чтобы электричками добираться домой. Так я и сделал. Напоследок пришел на кладбище, но уже ничего не читал (Евангелие было собственностью сторожки). Просто посидел под деревьями, но уже на христианской части. Было приятно смотреть на кресты, и было жалко, что они не стоят в той части кладбища...

* * *

Я забыл бы эту историю, как забыл сотни историй своей и чужих жизней. Но я вспомнил о ней, когда среди моих друзей все чаще стали появляться евреи. Они не решали со мной гешефты, не делали шахер-махер и не готовили гефилте-фиш. Они вообще не делали со мной ничего еврейского, но появлялись ниоткуда, говорили со мной о Боге, о Христе, о Суде и потом уходили. Некоторые стали моими друзьями, многие крестились, иных я даже не помню по имени, но за несколько лет их было много.

И вот тут в мои тяжелые мозги пришло ясное понимание того, что глаза с надгробий смотрели на меня с пониманием не зря.

Евреи все же умеют любить своих и переживать о них даже из ада.

Урок

... Большинство людей учится, читая книги. Но есть и другие пути. Антоний Великий спрашивал у философов: «Что раньше: ум или книги?» «Ум, — отвечали те, — ведь книги — из ума». «Значит, — говорил Великий, — очистившему уму книги не нужны». Этот второй способ — очищение ума — редок и тяжел. Говорить о нем может лишь имеющий опыт. Константину открылся третий путь — общение с людьми. «Каждый человек, — однажды подумал он, — живет жизнью драматической и таинственной. Будь бы она увековечена пером Шекспира, то быть бы ей известной и читаемой вовеки. Люди — это непрочитанные книги. Это — покрытые пылью инструменты, которые зазвучат, лишь стоит их коснуться умелыми пальцами.

Эта мысль озарила его однажды под вечер, когда раковина была полна блюдец, а средство для мытья посуды закончилось. Он даже присвистнул от радости. Это же цель!

Завести разговор, познакомиться неважно где — в поезде, в баре, на пляже. Аккуратно, как кончики пальцев в волшебное озеро, окунуть душу в чужую жизнь. Без бумаги, напрямую узнавать от людей самое важное, если, конечно, они, люди, согласятся пустить тебя не только в прихожую, но и в спальню, и в кладовую своего душевного дома.

...

Архиерей и режисер

Имя продолжает греметь, когда владельца имени уже еле слышно. Так доктора могут пригласить для консультации в монаршую спальню, и он зайдет туда на цыпочках, но вместо грозного повелителя может увидеть заострившееся от предсмертной болезни испуганное лицо, чуть высунувшееся из-под одеяла.

Точно так позвали священника к режиссеру, которого тяжкий недуг уложил в постель. Позвали, чтобы причастить больного, хотя даже глоток воды ему уже давался с болью. Стены были густо увешаны фотографиями той поры, когда нынешний больной повелевал армией операторов, сценаристов, гримеров и артистов; когда он выжимал из них необходимые соки, а из соков этих готовил интеллектуальный коктейль — зрелище, зафиксированное пленкой. Там, на фотографиях, он был энергичен, уверен в себе, целеустремлен. Там он вызывал уважение и скрытую зависть. А здесь, под одеялом, он был мал, сух, измучен. Здесь он вызывал только сострадание и желание вспомнить строчку из Екклесиаста

Уже потом, задним числом, священник срифмовал эту встречу с чеховским «Архиереем». Там ведь тоже болезнь не брала в учет социальный статус и расхожие представления о величии. Взяла да и свалила в постель викарного владыку. Тот «очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться». И здесь было нечто подобное.

Притом архиерей и режиссер, как ни крути, похожи. Оба влияют на сознание масс, оба занимают совершенно разные, но ответственные и руководящие должности. Оба — генералы мирных времен. Пока каждый из них в фаворе, с ними трудно говорить по душам. Хотя бы потому, что до них просто трудно добраться. И лишь когда случится нечто, переводящее их из элиты в строй рядовых, можно и посидеть рядом, и подержать их за руку, и поговорить о чем-нибудь нейтральном.

Священника позвали причащать больного, а значит, и исповедовать его. Может быть, впервые в жизни, а может, спустя многие-многие годы от последней исповеди. И все это в ситуации, когда человек и говорит уже с трудом, еле слышно. Пытать допросом человека о содеянных грехах в это время просто бесчеловечно. А что делать?

Простая мысль пришла на ум батюшке.

— Я вам почитаю Евангелие. Хорошо?

Больной закрыл глаза и вновь открыл, что, по всей вероятности, заменяло утвердительный кивок головой. Библию не пришлось долго искать, хозяйка была религиозна. И они стали читать. Вернее, священник стал читать, не громко, но внятно и не спеша, сидя вполоборота к больному и на него не глядя. Читал из Иоанна, начиная с восемнадцатой главы, от взятия Иисуса под стражу.

Эти строки, сколько их ни читай, всегда читаются впервые. И про то, как Иисус сказал «это Я», а воины упали в страхе; и про то, как Петр, перепуганный и разгоряченный недавней схваткой, поспешно отрекался от Учителя. Если читаешь с умом и не спеша, то часто почти проникаешь в ту густую и тревожную, неповторимую атмосферу, в которой Иисуса водили к Пилату, и к первосвященнику, и к Ироду, и выводили к народу, все время спрашивая что-то, добиваясь чего-то. А ведь все уже было решено и песок в невидимых часах убегал, приближая развязку.

Священник читал и боялся думать о том, слушает ли больной. Священнику и самому было сладко читать драгоценные строки, но в этот раз он читал их не для себя. Что, если

больной уснул, что, если он устал от всего и хочет, чтобы его оставили в покое? Вот и дыхания его не слышно. Но чтение продолжалось.

Вершился людской суд над Богом. Звучали странные слова: Лифостротон, Гаввафа. Голгофа, нешвенный хитон. Иисус с Креста усыновлял Иоанна Матери, и просил пить, получая в ответ на просьбу уксус, и, преклонив главу, предавал дух. А воины с поспешностью ломали кости разбойникам и били копьем в ребра уже умершего Мессию. Сверху их кропила кровь и вода. Затем Никодим с Иосифом, преодолев страх, вошли к Пилату и просили тело. Затем было погребение.

Две главы читались минут десять. За это время на глаза священнику раз или два наворачивались слезы, но он откашливался и продолжал читать без эмоций. Когда дошли до утра нового дня, то прочли только про Магдалину. И так все было ясно. Все опять было ясно — Он воскрес. «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

На этих словах священник сказал «аминь», поцеловал лист и закрыл книгу. Потом он не спеша, но с опаской повернулся и посмотрел на больного. Тот был внимательно собран, лежал с открытыми глазами, и в глазах стояли слезы. Несколько слезинок стекли на подушку и оставили на наволочке маленькое пятно. Одна слеза стекла было по щеке, но задержалась в седой щетине. Не меняя положения тела, больной стал что-то шептать. Священник приблизил ухо к его устам и услышал очень тихое и очень слабое: «Спасибо вам».

Причастие было на следующий день. А вскоре после причастия было и отпевание.

Еще одна душа переступила грозную границу между мирами и начала свое собственное и неповторимое загробное существование. Свой прах, измученный и истощенный болезнью, душа оставила на малое время родным для оплакивания, а потом этот прах вернут праху до дня всеобщего воскресения. Во все это за свою жизнь священник вовлечен так часто, что большого набора альтернатив у него нет. Протоптаны лишь два пути: очерстветь окончательно или стать святым.

Человек же, не желающий черстветь, но и к святости не чувствующий решительного позыва, должен чем-то утешаться в своем зависшем состоянии. Лучше, если книгами.

Существование книг есть одно из доказательств человеческого бессмертия, а возможность найти себя или свою жизненную ситуацию на страницах чужого труда и вовсе сродни волшебству. В тот день, когда священник преподал больному причастие и ушел, как хорошо было бы, чтобы больной чувствовал себя так же, как чеховский архиерей. И тот и другой были большими и значимыми. Но потом вдруг стали маленькими и беспомощными. Но когда уже все смотрели на них, утирая глаза и разговаривая шепотом, они внутри себя обрели новый простор и иную свободу.

У Чехова так и сказано: «Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!»

У меня умер друг

Ты спрашиваешь, почему я грущу? А когда ты ^ видел меня веселым?

Понимаешь, у меня умер друг. Я и не думал, что он мне так дорог. А вот позвонил ему, а детский голос отвечает: «Папа умер». Я где стоял, там и сел и заплакал. Валера умер! Не могу представить его бездвижным. Не могу представить гранитный памятник с его фотографией, на которой он улыбается.

Он был доктор. И в этом тоже есть какая-то доля издевательства. Он был хороший доктор, грамотный, внимательный, серьезный. Но доктора тоже умирают, и священники тоже грешат. Разве это не ужас? А ты все спрашиваешь, отчего я грущу.

Гепатит залез в его печень давно. Он рассказывал мне, что в болезнях много мистики. Вирусы ведут себя не просто как живые, а как живые и умные. Они приспособляются к лекарствам, изменяются, затаиваются. Они могут делать вид, что уже умерли, что побеждены, и человек успокаивается, начинает беспечно радоваться, нарушать режим... Потом болезнь вспыхивает вновь, но на этот раз очаги поражения глубже и опаснее, а старые лекарства уже не действуют. У Валеры был именно такой случай.

После первой опасной вспышки, когда специалисты говорили о двух-трех оставшихся годах, он прожил еще десять лет. В этот период мы и познакомились.

На его месте можно было по-христиански вымалывать у Бога или, как делают многие, по-язычески ждать от безликого Космоса подачки в виде продления срока. Можно было истратить все деньги на новые лекарства. А можно, сколько Бог пошлет, жить полной и красивой жизнью, радуясь каждому дню и тем более каждому прожитому году. Они с женой сумели заново влюбиться друг в друга и были так взаимно нежны и внимательны, что многие, быть может, им завидовали.

Валера на пару лет поехал в Ливан, в миротворческий контингент. Заработанных денег, плюс сбережения, хватило, чтобы улучшить жилищные условия. Слишком долго они с женой и двумя детьми мыкались по коммуналкам и съемным квартирам. Когда мы освящали эту новую квартиру, Валера сказал: «Ну вот, за это уже сердце не болит». Последние несколько лет он часто повторял эту или подобную фразу: «Уже сердце спокойно», «Об этом я не переживаю». Он говорил так, когда старший сын стал работать и к тому же познакомился с хорошей девочкой. Когда жена научилась водить машину. Когда удалось реорганизовать терапевтическую службу в округе. Время шло и постепенно его убивало. Печень уже не могла хорошо очищать кровь. Но, запрограммированная на честное исполнение своей работы, она и пропускать ее не очищенную не могла. Началась внутренняя интоксикация. Он мог бы вести дневник и, как доктор, фиксировать постепенное угасание своего организма. Но он стремился реализовать себя, воплотить мечты, обеспечить семью. И он продолжал быть собранным и серьезным на работе, веселым среди друзей.

Ты спрашиваешь, почему я улыбаюсь? Знал бы ты, как он умирал. Это была оптимистическая трагедия. Когда его на пешеходном переходе внезапно сбила машина и все разрушительные процессы в организме резко усилились, Валера и его жена поняли, что он вышел на финишную прямую. Они стали готовиться к расставанию с мужеством самурая, делающего с утра прическу и готового к вечеру умереть. За сорок семь дней от аварии до смерти они прожили вместе еще одну жизнь.

В больнице, где его знали все и он знал каждую трещинку на стенах, отбоя не было от посетителей. Целый театр лиц прошел перед их глазами: робких, искренних, испуганных, участливых. Он говорил со всеми, даже консультировал больных и давал советы коллегам. Только жену все время держал за руки и сучал по ней, даже когда она отлучалась на полчаса за минералкой или лекарством.

В тот самый важный день, который еще называют последним, к нему в очередной раз пришел священник. Валера недавно причащался, а сейчас уже был без памяти. Поэтому его соборовали. Все, что он сказал в тот день, — это фраза, обращенная утром к зареванной медсестре, менявшей капельницу. «Вы очень красивы сегодня», — сказал он ей. Потом он ничего не говорил и казался глубоко уснувшим. Но священник, совершавший соборование, обладал зычным басом. Совершив Таинство, он громко произнес отпуст и этим, кажется, пробудил больного. Валера узнал священника. «Батюшка, благословите». — «Бог благословит». — Священник широко перекрестил Валеру и положил ладонь ему на голову. Валера слабо, но очень тепло улыбнулся и закрыл глаза.

Священник снял облачение, сложил его в чемоданчик и успел дойти до двери, когда Валерина душа покинула вначале тело, затем больничную палату, и затем и вообще эту печальную землю.

Я вспоминаю о Валере, думаю о его смерти и радуюсь. Но эта радость не мешает мне ронять слезу, когда я представляю себе гранитный могильный памятник с фотографией, на которой Валера улыбается. Ты спрашиваешь, как это может быть? Как могут ужиться вместе и улыбка, и слезы? А по-моему, только та радость и есть настоящая, которая не мешает плакать. И только те слезы правильны, сквозь которые можно улыбнуться.

Не каждый может быть садовником

...

Я смотрю на гостью одуревшим взглядом и вижу за правым плечом у нее прожитое ею прошлое. У каждого человека размытые очертания прошлого угадываются за плечом. Угадываются страхи, восторги, обиды, неудачи, мечты сбывшиеся и не оцененные по достоинству, мечты несбывшиеся и превратившиеся в рану. Все это зыбко колышется за спиной каждого человека, за одним из его плеч. А за другим плечом робко проявляется, как негатив на фотопленке, приближающееся будущее. Туда, за спину человека, смотреть страшно, потому что нет никого несчастнее на земле, чем тот человек, который видит прошлое и прозревает будущее. Или я схожу с ума? Может быть, я сплю с открытыми глазами? Всё может быть. И разве можно, скажите мне, сохранить последние крохи душевного здоровья, когда по твоей душе ежедневно топчутся табуны и ездят тракторы, когда из тебя пьют, вылизывают и высасывают кровь самые разные люди, сохраняя в душе наидобрейшие намерения?

«Священнику свойственно быть съеденному людьми». Кто это сказал? Мориак. Где я это прочел? У Шме-мана. Упокой, Господи, душу протопресвитера Александра Шмемана. Упокой, Господи, душу писателя Мориака. Помилуй, Господи, Славика и его маму. Помилуй, Господи, Игоря Андреевича с ушедшей женой и оставшейся дочерью. И меня не забудь, Господи.

...

Легче покаяться в том, что топил щенков, чем в том, что дал женщине денег на аборт ребенка, зачатого тобой. Легче сказать, что ты ничего не крал, нежели признать себя вором времени своего и чужого

...

Потом она ушла, а я остался. Я остался лежать на диване, на котором только что сидел, в комнате, где только что была гостя. Я лежал и думал о том, насколько легче была бы наша жизнь, если бы мы были менее эгоистичны, умели четко формулировать мысли и правильно излагать проблемы. Я вспомнил дикие кусты, растущие как попало, плодящие кислые, а то и ядовитые ягоды, и думал о том, что культурное растение нужно обрезать и направлять его рост. Нужно экономить силы корня и не давать им тратиться на второстепенное и случайное. Это случайное должно быть обрезано, отсечено, чтобы растение устремлялось, вверх подобно пальме, и там, наверху, взрывалось роскошью плодов и листьев, одновременно красивых и полезных.

Не каждый может быть садовником, но каждый обязан обрезать дикие побеги собственных мыслей, чтобы принести плод Богу и не пить даром кровь тех, кто тебя вынужден слушать. Неважно, психолог это или священник, адвокат, сосед или сослуживец.

Греция. Острова

Гладкие большие камни уличной мостовой. Дорога, верблюжими горбами идущая то вверх, то вниз. Низкорослые, белые, аккуратные здания вдоль улиц. И тишина.

Когда идешь по улице вверх, перед тобой голубое небо. Остановишься наверху отдышаться, обернешься назад — перед тобой вдали открывается море. Такого же цвета, как небо.

Здесь до боли красиво, и все это почему-то бестолку. Местные привыкли. Их взгляд на море и небо безучастный, скользящий. Чтобы оценить по достоинству эту повисшую в воздухе жару, эту цветовую смесь терракотовых крыш, синего моря и белых стен, и треск цикад, и пыльную зелень олив, им надо покинуть родной дом, причем — надолго. Так, чтобы сны о родине потеснили все остальные сны, чтоб тоска тошнотой раз за разом подкатывала к горлу, чтобы пища чужбины была безвкусной. А так ... Хоть в рай посади человека, он и там приживется, пообвыкнет. Будет с тоскливым видом высовываться из окна, чтоб покурить и поплевать сквозь зубы будет думать, чем бы заняться или где взять денег.

Красота создана для туристов, то есть для шумных и праздных существ, тратящих специально накопленные деньги на покупку свежих впечатлений. У них горят глаза, они взвинчены и радостны, они фотографируются, шумят на незнакомых языках за столиками в тавернах. Их белая кожа впитывает местное солнце. Они высаживаются из автобусов, как облако саранчи, чтобы, съев глазами, ушами и кожей весь набор запланированных впечатлений, уехать туда, откуда явились, и уступить место следующему десанту. «Я там был», — скажет каждый из них, тыча в нос собеседнику фотографии, поднося сувениры.

«Я там была». За то, чтобы произнести эти слова, наша героиня заплатила бы много. Очень много. «Была». Сладкое слово. Когда она сможет произнести его, ей тоже покажется

раем и это море с выводком рыбацких лодок у берега, и горы, поросшие курчавым лесом, и вертящиеся лопасти ветряной электростанции. Сонное, ленивое царство, где у детей нет рахита, потому что солнца так же много, как воды в море.

Она хотела бы быть туристкой. Она хотела бы улететь домой на первом самолете, чтобы показывать подругам сувениры и говорить: «А вот это дом, где я жила».

Но нет. Не сейчас. Сейчас она идет из супермаркета с сумкой, полной бытовой химии. Хозяйка любит чистоту. Деспина — по-гречески «хозяйка». Деспина Зоя. Подумать только. В космос давно летают ракеты, а на земле у людей до сих пор есть хозяева и хозяйки, как будто мы в Древней Греции, а не в одной из стран Евросоюза. Дичь какая-то.

Так по-русски думала женщина, освещенная греческим солнцем, возвращаясь вверх по улице домой из супермаркета. Тот отрезок ее жизни, на котором мы с пей встречаемся, давно прошел. Она уже дома, на Родине. Греция осталась лишь в ее снах и на редких фотографиях. Теперь она даже немножко скучает но тихому острову, на котором прожила два долгих года. Но мы смотрим на нее не сейчас, а «тогда». Мы «тогда» переносим в сегодня и видим женщину лет сорока, только что остановившуюся на верху улицы, чтобы отдышаться, и обернувшуюся лицом в сторону моря, такого же синего, как небо.

Ее зовут Маргарита. Так в паспорте. Ритой звала ее мать. Точно так же звали и подруги. Катапульта, которая забросила Маргариту, словно камень, за тридевять земель, называется «долги».

Она не брала денег в долг на раскрутку бизнеса. Она брала деньги в долг, чтобы сына не посадили в тюрьму. Ей, потомственной адвентистке, с детства являющейся, что такое грехи и что такое заповеди, было особенно тяжело оттого, что сын ее связался с ровесниками-наркоманами, а она, внучка уважаемого пастора, была вынуждена выкупать его из беды и для этого брать в долг довольно большую сумму.

Так Маргарита оказалась в Греции, вдали от мужа (как он там?), от сына, продолжавшего, по слухам, бесчинствовать, вдали от общины, где за нее молились на каждом собрании.

Вера верой, а беда бедой. Рита плакала, как все; скучала, как все; сто раз порывалась уехать; боялась часто звонить домой, чтоб не рыдать в трубку и не услышать (не дай Бог) дурных вестей. Долг постепенно отрабатывался, хотя и не так быстро. Со временем порывы бросить все и уехать сменялись мыслями остаться подольше и побольше заработать. Она была простым человеком, то есть — тростью, ветром колеблемой.

Для туристов греческие острова были раем, для местных жителей — декорацией, а для Риты ее остров был местом добровольной ссылки, одинаково тоскливой, будь ты хоть в Сибири, хоть в Африке.

Она, конечно, утешалась Библией. И раздражалась на хозяйку. Деспина была стара, как сама Древняя Греция. Она была почти глуха, перемещалась по дому едва-едва и часто просыпалась ночью. Ела она мало и в туалет (слава Богу!) ходила не под себя. Но бывали дни, когда нужно ей было что-нибудь поминутно. То выжми ей сок. То включи, то выключи телевизор, то позвони сыну, чтоб на выходные приехал. И всякий раз, не важно, ночь на дворе или день, глухая хозяйка била палкой в стену и кричала: «Ри-и-та!»

Непременной обязанностью служанки было зажигать на ночь лампаду перед иконой Богородицы. Рита было воспротивилась. «Идол! Не буду! Не сотвори себе кумира!» Но для деспины Зои это было очень важно, и русская адвентистка смирилась.

«Я не грешу в душе. Я не изменяю Богу. Я просто... Я просто...» — думала Рита, зажигая лампаду, и не могла подобрать точное имя тому действию, которое совершала каждый вечер.

Она уходила к себе, чтобы успокоиться за чтением Библии, и оставляла старуху сидеть в кресле напротив потемневшего на ночь окна. Деспина могла сидеть часами глядя в одну точку, думая о чем-то. Временами она поднимала глаза к Богородице, крестилась сморщенной, как куриная лапка, рукой и вздыхала тихо: «О Панагия...»

Греки ничего не знают о нас. Никто ничего о нас не знает. Никто вообще ничего не знает. Это мы читаем обо всех и всем интересуемся. Остальные плевали на мир, не попадающий в поле прямого обзора. Исключения есть, но их мало.

Кассирша в маркете, с которой Рита подружилась, спрашивала ее поначалу, есть ли у россиян в домах телевизоры, спим ли мы на простынях или на голом иоле. Все это жутко возмущало Маргариту, и она лихорадочно перебирала в уме аргументы для доказательства нашего величия.

«Да мы первые в космос полетели! Да у нас дети про вашу Грецию знают больше, чем вы сами! Дау нас Пушкин...» Она никогда не гордилась дома ни Пушкиным, ни Гагариным, ни школьной программой. Было чувство, что Родина велика. Но не было знания — почему, и это тоже раздражало.

Кассирша улыбалась в ответ. Она не понимала ничего — ни причин Ритино раздражения, ни того, к чему такие умные люди пачками уезжают из дома на заработки. Этого, по правде, Рита тоже не понимала.

— У вас Церковь есть? — спросила однажды кассирша у Маргариты.

— Конечно, есть, — отвечала Рита.

Но когда она на своем ломаном греческом языке начала рассказывать о своей общине, о Библии, о де-душке-пасторе, лицо кассирши скривилось в презрительную гримасу.

— Это не Церковь, не Экклесия, — сказала гречанка. — Настоящая Экклесия — вот. — И она показала рукой в сторону покато́й черепичной крыши местного храма и перекрестилась. Рита не стала спорить, хотя ей хотелось крикнуть на весь магазин, что греки — обычные идолопоклонники, что они не знают и не читают Библию и что вообще их местный священник подмигивает незнакомым женщинам. Что настоящая вера иная, иная. Но она сдержалась и, расплатившись, вышла. Она шла из магазина по улице вверх, и ей хотелось плакать. Плакать от одиночества, от обиды, от усталости.

В местном храме она бывала время от времени. Священник действительно игриво подмигнул ей, когда она, понуждаемая деспиной, пришла, чтобы подать записку с именами на поминальную службу. Это тоже входило в ее обязанности — приносить по воскресеньям из церкви просфору, относить деньги и записки с именами на службу.

Храм был мил. Именно мил, а не красив или величествен. Он был чужой для Маргариты, но все же, думала она, в нем тоже молятся Богу. И еще распятие притягивало ее взор. Это было высокое, большое и очень красиво сделанное, красиво нарисованное распятие. Иисус на нем казался уснувшим. Красивым, уставшим и уснувшим. Он склонил голову на плечо и закрыл глаза. А в ногах и руках Его торчали гвозди, большие гвозди с квадратными шляпками. Однажды Маргарите вдруг захотелось подойти к распятию, чтобы

помолиться или даже... поцеловать ноги Иисуса. Но она сдержала себя. Ей нельзя. Так неправильно. Бог есть Дух, и кланяться Ему надо в духе и истине. Бог не в рукотворенных храмах живет.

Она вышла из храма почти бегом, словно уходила от искушения.

* * *

Мы ведь смотрим на нее «тогда». Мы отмотали, как пленку, несколько лет жизни и словно в реальном времени смотрим со стороны на свою соотечественницу, оказавшуюся на заграничном курорте с целями, далекими от отдыха. А что сейчас?

А сейчас Маргарита Павловна сидит за столом и рассказывает мне о том, что было с ней в прошлом, кажущемся уже таким далеким. Мы дружим с ней. Она — прихожанка храма хорошо знакомого мне священника.

Видели бы вы, какое распятие она подарила в храм тому священнику! Большое, красивое и живое!

Иисус на нем словно уснул. Только что «преклонь главу, предаде дух». А все детали живы. Солнце и луна со страхом смотрят на Господа, как живые. Голова Адама под голгофой то ли скалится от страха, то ли улыбается. И если это улыбка, то от нее становится жутко. Кровь из ран уже не течет, но запеклась и тоже — живая. И ты становишься живым, когда, постояв минуточку-две у распятия, вдруг опустишься на колени и, коснувшись лбом пола, скажешь шепотом: «Прости меня».

* * *

В Великом посту мне совсем было плохо. Тоска такая, что хоть вой. Я читала, молилась, но все равно тоска не отступала. Иногда смотрела в книгу и ничего не видела. Читала одно и то же по нескольку раз и не понимала ни слова. Да и времени нет читать. Работа. То одно, то другое.

Это же как тюрьма. Ни одного нового лица. Те же стены, та же работа, один и тот же пейзаж. Горы, море, тишина. Я думала, что с ума сойду.

Тут деспина посылает меня в храм отнести деньги на службу. А мне так не хочется. Видеть никого не хочется, только бы легла в угол и плакала. Но делать нечего. Иду. Прихожу в храм. Людей среди дня почти нет, и распятие посреди храма. Я дала деньги на службу и уже повернулась уходить. Потом что-то меня задержало. Думаю, посижу в храме немного одна. Не буду спешить. Села на скамью и смотрю на распятие. Потом... Не знаю, что со мной было. Вот не знаю. Меня будто сила какая-то подняла с места и подвела к голгофе. Как я вдруг начала плакать! И молиться! Будто в груди что-то прорвалось, и слезы хлынули рекой. И молюсь Христу! И крещусь! Представляете? Сначала жаловалась Христу на жизнь, что скучаю, что плохо мне. Жалко себя было. Потом стала молиться за сына, за мужа. Потом вдруг почувствовала свои грехи, вспомнила, увидела, сколько их! Мы ведь себя чуть не за святых привыкли считать. А тут у меня будто глаза раскрылись. Я долго тогда в храме была. Не знаю сколько. Пришла домой, бабка моя кричит: «Где ты была?», а я чувствую, что люблю ее. Мне так легко стало. Я таку-ую благодать получила, что не могу и сказать! И потом лампадки зажигала с радостью.

Она говорит, говорит, говорит. А я пью чай и слушаю, слушаю. Они так любят говорить, эти милейшие бывшие протестанты. У них везде «благодать», «откровение»,

«свидетельство». А мне вот хочется такое же распятие к себе в храм. Но просить не буду. Стыдно. Да и дорого это.

Уж сколько разных историй, всяких-всяких, слышали мои уши. Не порали записывать? Говори, говори, Маргарита Павловна. То, что ты говоришь, действительно и откровение, и благодать, и свидетельство.

* * *

Она поднималась по улице вверх, неся в руках сумку, полную бытовой химии. Деспина Зоя любит чистоту. Мы знаем, что случится с ней через полгода, а она еще ничего не знает. Что ж, оставим ее при блаженном незнании. Ее, Маргариту, внучку уважаемого Пастора, приехавшую в Грецию, чтобы заработать денег и отдать долги.

Вот она стоит с печальным лицом, среди треска цикад под синим небом, обернувшись вполоборота, чтобы взглянуть на такое же синее море.

Две истории

...

А вот и вторая история

Дело было на Галичине, в одном из сел в конце семидесятых, еще при Брежнев. Встречался некий юноша с девушкой. Имел самые серьезные намерения. А у нее дядя был священник. Священники тогда на

іанадной Украине в основном жили как сыр в мас- но. Был почет, были и деньги. Шутники говорили: У пана-отца свинья заболела». Девушка, конечно, шала, как духовенство живет, и говорит парню: «Иди и семинарию. Выйду за тебя только если будешь священником». Взбалмошным девкам не впервой парией за чобитками с золотыми подковками посылать, не то что в семинарию. Вот парень и поехал. Взял рекомендацию на приходе и отправился в Санкт- Петербург, по-тогдашнему — Ленинград. Поехал без особых приготовлений, так как галичане уверены, что они люди набожные и о религии знают все. Там п сейчас нетрудно в селах найти людей, которые « читают, что русские праздники — это 1-е Мая и 23-е февраля, а украинские — Рождество и Пасха. Парень решил, что раз «Отче наш» знает, раз голос у него есть и в воскресенье на службу он ходит, то ничего больше знать и учить не надо. Да и глядя на окрестное духовенство, какие-то особые знания и таланты заметить было трудно.

В Ленинград он ехал нехотя и с опаской, к москалям все-таки. И там, в городе трех революций, пришлось ему до крайности изумиться. Пришлось впервые в жизни увидеть по-настоящему верующих молодых людей. Там были москали, русские то есть, были молдаване, украинцы, были юноши, приехавшие из других частей огромной империи, разлегшейся на одной шестой части суши. Они вели между собой непонятные для нашего героя разговоры о литургике, о святых отцах. Они читали Евангелие и еще какие-то незнакомые умные книги. Было видно, что они давно переварили то, что наш друг еще не съел. И еще было видно — никто из них не приехал сюда для каких-то «левых» целей: покорять чье-то сердце, делать карьеру..

Экзамены парень сдавал без огонька и успешно их провалил. Во-первых, знаний серьезных не было, во-вторых, был стыд и чувство, что находится он не в своей тарелке. Пришлось возвращаться домой. Всю обратную дорогу перед глазами, как упрек, стояли чистые и умные лица тех, кто остался в семинарии учиться и служить Богу.

На следующий год он опять поехал поступать в ту же семинарию, но уже не для того, чтобы завоевать любовь той девушки, а по назначению — чтоб стать священником. Кстати, отношения с девушкой у него не заладились. Они как-то обоюдно и одновременно друг к другу охладели, и начинавшийся было роман растаял в воздухе, как мираж.

Саул искал потерявшихся ослят, а нашел Самуила и помазание на царство. И наш герой искал одной любви, эгоистичной и переменчивой, а нашел другую — вечную и настоящую.

Раздвоенность

...

Когда человек жил без молитвы и Бога, то жил в аду и в лесу привидений. Когда Бога узнал человек и ожило в нем сердце, то узнал он настоящую жизнь попробовав на вкус одно из блюд будущего Пира. Когда снова стал грешить человек, то узнал он главную боль теперешней жизни — раздвоенность. И что будет завтра, не знает он. И жаль ему себя, и всех ему жаль, потому что все одинаковы.

...

Судья и священник

...

— Ваша честь. Я всегда говорил, что человека нужно любить больше, чем кошек и канареек. Можно шить собакам тапочки и спать с ними в обнимку, но при этом ни разу не пойти к больному родственнику в больницу. Это неправильно.

...

Школа роста

Есть у Чехова рассказ под названием «Пари». Суть происходящего в рассказе заключается в том, что на одной вечеринке между людьми возник спор об уместности смертной казни. Одни говорили, что она необходима, другие — что она непозволительна и должна быть заменяема пожизненным заключением. Раздался также и голос некоего студента, который сказал, что с нравственной точки зрения убийство и пожизненное заключение одинаково ужасны, но что он бы, в случае выбора, согласился па пожизненное.

— Вы и пяти лет не выдержите, не то что пожизненное заключение, — сказал студенту один из присутствовавших на вечере богачей.

На эти слова студент ответил предложением пари 11 вызвался за 1 миллион высидеть в добровольном заключении пятнадцать лет. На том и порешили. Заключение нужно было терпеть во флигеле упомянутого богача, сношение с миром осуществлять только через письма, все необходимое (книги, еду, ноты п прочее) богач обязывался предоставить по первому

требованию. Общаться с людьми — запрещено, и если студент выйдет из затвора хоть на полчаса раньше, он проиграл.

Кто хочет узнать, чем дело закончилось, пусть читает оригинал. Мне же представляется важным то, чем занимался студент в своей импровизированной тюрьме, а точнее ~~ что читал. Человеку крайне важно научиться работать с текстами и информацией, чтобы не захламлять сознание, чтобы избегать ловушек, чтобы не повторять чужих ошибок. В информационном же обществе (а именно в нем мы и живем) сей навык просто-напросто приравнивается к необходимой технике безопасности.

Итак, Антон Павлович следующим образом описывает поведение добровольного узника:

«В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т.п.».

Именно так и читает большинство людей, одаренных умением читать. Для них искусство и культура — лишь способ уйти на время в параллельный, ни к чему не обязывающий мир, попытка отдохнуть и расслабиться. Развлечения ищет «почтеннейшая публика» в таком подходе к искусству, развлечения и легкой альтернативы тяжелой и обременительной действительности. В мире братьев Люмьер этому чтиву соответствует ишТпиі, то есть вся бурда: мелодрамы, боевики, мыльные сериалы, фэнтези. Но обыватель в тюрьме не сидит и на этом этапе может провести всю жизнь без остатка. Зато студент сидит, и его душа вынужденно развивается, посему меняется и читательское меню.

«Во второй год музыка уже смолкла во флигеле и юрист требовал в своих записках только классиков.

П пятый год снова послышалась музыка и узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали не раз, как он плакал».

Классика пришла на второй год. Когда она придет к человеку, находящемуся в обычных, а не экстремальных условиях, — вопрос. Но она должна прийти. Нужно перечитать произведения школьной программы, чтобы развеять иллюзии знакомства с ними, и впервые прийти в восторг и уронить слезу над Гоголем, I Іупкинъім... Потом захочется самому что-то написать (студенту захотелось). Но это скоро пройдет (студент на утро разрывал все написанное).

Но на этом развитие тоже не заканчивается

«Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо: "Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает

теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!" Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в саду два раза».

Та ступень, до которой дорос необычный затворник, называется жаждой глубоких знаний. Здесь стоит оговориться и признаться, что у подавляющего большинства из нас нет и не будет никакой возможности засесть за фундаментальное образование во взрослом возрасте. Это — редкий удел небольшого количества людей. Но жажда подлинных знаний у нас быть должна. Сама эта жажда будет защитой души от всякой информационной суеты и мелочи, которая норовит всякому залезть в рот и набиться в уши, как таежная мошकारа.

Мы уже видим направление развития личности. Сначала легкое чтиво, затем классика, затем — наука и языки. То есть сначала Маринина, потом — Сэлинджер, потом — Платон в оригинале. Или сначала — радио «Шансон», потом — оркестр Поля Мориа, потом — Бах и Гендель.

Но идем дальше.

«Затем, после десятого года, юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пришли история религий и богословие».

Заметим удивление банкира. Шестьсот томов и маленькая книжечка. Что там можно читать так долго? До чего над ней можно додумываться? Подобные вопросы не высказываются многими лишь по причине отсутствия повода. Но заметим: над Евангелием замер человек, закаленный в чтении и изучении серьезных книг и наук. Человек мелкий и пустой пробежит евангельский текст глазами, зевнет и включит телевизор. Потом на вопрос: «Вы Евангелие читали?» — он будет громко отвечать: «А как же!» Что ни говорите, но чем глубже и основательнее человек, тем глубже и основательнее его вера

«В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!»

Последний этап характерен двумя вещами. Во-первых, человек, докопавшийся до глубин, в эти глубины глянувший, может действительно читать все. Ему все интересно и все не так опасно, как людям неискушенным. Во-вторых, студент находился на финишной прямой и ожидал окончания срока пари, а это самый тяжелый период заключения. В это время он особенно остро мучился и искал развлечения.

Вот, собственно, все, что я хотел извлечь из рассказа. Чем он закончился, я не скажу, стимулируя здоровый интерес к хорошей литературе. А нам с вами, братья и сестры, нужно извлечь из сказанного ту мысль, что душа, начавшая трудиться, непременно проходит на пути своего развития вполне определенные этапы.

Нужно переболеть всякой чепухой и перерасти ее.

Нужно добраться до серьезных книг, отнимающих сон и переворачивающих душу.

Нужно ощутить скорбь от того, что у нас нет глубокого классического образования, нет базы. И нужно постараться хоть как-то эту потерю восполнить.

Наконец, нужно дочитать до слова Божия и найти в нем ни с чем не сравнимую сокровищницу красоты, и пользы, и смысла.

Только упомянутую школу духовного роста лучше не проходить на воле и в тюрьму ради этого не садиться.

Город, которого нет

...

В моем детстве было все то же самое, что было в детстве моих сверстников. Мы одевались плохо, почти в лохмотья, но не замечали этого, поскольку никто вокруг не одевался лучше. Наше детство было ξ голодным. Иногда один помидор или горсть вишен были нашей дневной пищей. Мы всегда хотели есть, но никогда не переставали шутить и смеяться. У всех « родители были бедны и брались за любую работу, ^ лишь бы в доме вечером был затоплен очаг и появи- лась горячая пища. Все это сегодня кажется очень ^ далеким, почти фантастическим. Я словно видел это в кино, а не пережил лично. Поэтому я не ворчу на молодежь, не понимающую, что такое пустой желудок ^ и тяжелый труд. Какой смысл ворчать на них, если мы сами, пережившие это, стали разборчивы в пище, разленились и привыкли к комфорту.

Старушка

...

Историю XX века с его кол- лективизациями, трудоднями, войнами, бедностью, молчаливым терпением можно учить не читая книг, только глядя на руки стариков, все это переживших.

...

Чудаки

...

После причастия тетя Женя непременно хотела угостить дорогого гостя чаем и поговорить о жизни. Она была блокадница, и этим многое объяснялось, л В большой и опустевшей холодной петербургской 1В квартире (мебель пошла на дрова) она когда-то си- | дела, обессилевшая от голода, вместе с такой же ^ обессилевшей матерью. Не было сил выходить из дома, не было сил стоять в очереди за хлебом. Организм голодающего человека перестраивается на особый режим. Все органы тела каким-то им одним понятным способом отдают часть своей энергии нескольким самым важным органам: сердцу, печени, легким. Остальные переходят на полуспящий режим, чтобы не тратить силы. Первыми отказываются от энергозатрат мышцы лица, так называемые мимические мышцы. Нужда в их деятельности пропадает первой. Вся красочная палитра эмоциональных состояний, столь естественная для сытого и здорового человека, скрывается под саваном отрешенности. Ни иронии, ни гнева, ни широкой улыбки, ни поднятых в удивлении бровей, ни опущенных от обиды уголков рта. Ничего. Только потухший взгляд и бессильно отвисшая нижняя челюсть. Отсюда у голодающих тот апатичный, полуживотный вид, который ни с чем i е спутаешь.

Так они сидели в холодной и пустой квартире, ни о чем не разговаривая, почти не двигаясь с места, когда входная дверь стала содрогаться от ударов извне. Это был доведенный голодом до отчаяния сосед. Вооружившись топором, он решил добраться до двух изможденных и незащищенных людей — мамы и дочери, чтобы их мясом спастись от голодной смерти.

Они все поняли сразу, без слов. В голодающем городе приближение каннибала многие чувствуют к()жей. А здесь — стук топора во входную дверь. Откуда- то взяли силы, и они, мать и дочь, стали стаскивать к дверям все, что осталось в квартире: чемоданы, кусок с гола, остывшую печку-буржуйку. Баррикада была слаба, но и тот, кто ломился к ним снаружи, не был силен. По тому, как слабели удары его топора, было ясно — он на пределе. Дверь уже была прорублена в том месте, где расположен замок, когда удары смолкли. Скованные страхом и голодом, они просидели неподвижно па полу неизвестно сколько времени. Взгляд их был прикован к двери, за которой больше не раздавалось ни звука. Там, за прорубленной дверью и тощей баррикадой, лежал умерший от истощения сосед. Его лицо, более похожее на анатомический череп, обтянутый кожей, замерло в жутком оскале. Костлявая рука крепко сжимала топор.

После таких историй, понятное дело, не будешь ничему удивляться. Тетя Женя, каким-то образом оставшаяся в живых, не могла пройти мимо бездомных кошек. Ее надорванная страданием, травмированная душа жаждала кого-то кормить, греть, защищать, прижимать к себе. Семьи у нее не было.

...

Учитель

Есть старые учителя, ушедшие на пенсию, но не могущие жить без школы. Часто именно они работают в группах продленного дня или, оформившись на полставки, делают какую-нибудь другую работу. В одной средней школе столицы в недавние холода, когда не только дети, но и учителя болели массово, в старших классах вел замены бывший учитель математики. Лет семь тому назад он уволился из школы по состоянию здоровья, но по привычке любил приходить в нее во время уроков. Иногда он просился у учителей посидеть на занятии, особенно на математике (он сам был математик), иногда просто медленным шагом бродил по коридорам.

Когда учебный процесс грозил остановиться из- за недостатка учителей, директор по старой дружбе предложила ему провести несколько замен в старших классах. Он охотно согласился, и эти замены, длившиеся всего неделю, произвели неожиданный эффект в образовательном процессе.

* * *

— Здравствуйте, дети. Я буду проводить у вас замены, пока болеют ваши учителя. Вообще-то я долгие годы преподавал физику. Но это не значит, что я не могу преподавать другие предметы. Историю, например, я знаю не хуже физики. Вообще я могу не мучить вас. Вам и так много задают. Вы можете готовить уроки по следующему предмету. Или мы просто можем говорить о чем-нибудь.

— А о чем?

— Ну, тем много. Просто о жизни. Я старше вас. Римляне говорили: «Я был как вы, вы будете как я». Я мог бы вам многое рассказать. Но это не обязательно. Вы можете просто сидеть отдыхать или готовиться к другому предмету. Только не шумите.

— А расскажите нам что-нибудь.

— О старости хотите?

— Нет. Нам о старости неинтересно. У нас вся жизнь впереди.

— Вам так кажется. Многое у вас уже позади. И то, что позади, уже никогда не вернется. Вся жизнь только вам придется осознать то, что уже произошло с вами до сего времени.

— Что же с нами такого произошло?

— Много чего. Ученые говорят, что до трех лет мы получаем максимальный объем информации, который затем используем всю жизнь. Между человеком в тридцать лет и человеком в сорок расстояние, условно говоря, в ладонь. А между ребенком только что родившимся и ребенком трехлетним расстояние в сто километров. Человек не зря забывает ранние годы своей жизни. Взрослому и сильному, ему было бы очень не просто помнить себя беспомощным, абсолютно зависимым от родителей. А если бы мы помнили долгие девять месяцев жизни у нашей мамы в животе, это было бы нечто невообразимое. Мы тогда точно не выдумывали бы и не читали бы фантастику.

Вот вы смеетесь, а ведь человек живет много месяцев вниз головой. И питается не через рот, а через пуповину. И легкими не дышит. И солнечного света не видит. То есть ведет жизнь совсем не похожую на ту, что нам кажется привычной.

Отсюда — один шаг до веры в будущую жизнь. Я? Верю, причем несомненно.

Представьте себе, что два близнеца живут у мамы в животе и готовятся родиться. Представьте, что они умеют разговаривать. И один другому говорит: «Скоро мы погибнем». Другой спрашивает: «Почему?» — «Ну как же? Пуповину обрежут, вода вытечет, нужно будет наружу выбираться. А что там?» — «Как — что? Там солнце. Там мама и папа. Там будем расти, играть, смеяться. Там только жизнь и начнется». — «Нуда. Рассказываешь тоже сказки. Оттуда ведь никто не возвращался».

Вот так примерно и взрослые рассуждают о будущей жизни. Одни верят, что все только начнется, а другие тоскуют, что расстанутся с привычным окружением.

Это были первые уроки, которые нам понастоящему запомнились. Девятиклассников трудно заинтересовать. На улице капает с крыш. Скоро весна. Учителя с той же методичностью, что и капель с крыш, капают нам на мозги своими науками. А мы не хотим их слушать. Мы хотим жить. Наша грудь — это воздушный шарик, который надут до отказа и вот-вот лопнет. Все школьное кажется нам занудным и бесполезным. И вдруг этот старый, как нам казалось тогда, человек с седыми усами щеточкой смог нас заинтересовать

— Знаете, что такое актуальная бесконечность? Это бесконечность, имеющая пределы. То есть бесконечность и конечность одновременно. Как если бы все еще жил, но уже немножко умер.

— Что значит «немножко умер»?

— Не смейтесь. Свои школьные годы вы скоро вспоминать будете как далекую, безвозвратно прожитую жизнь. Вы будете жить дальше, но «та» жизнь останется только в памяти, она уже не вернется. Так в жизни бывает много раз.

Например, молодой человек приехал на лето в деревню. Там у него нашлись новые друзья. Было много веселья, приключений, купаний, длинных вечеров. Возможно, была первая любовь, первое смутное чувство, которое так мучит сердце. Лето закончилось, и настало время возвращаться домой. И вот этот молодой человек, перед тем как сесть в автобус или машину, почувствовал, что сейчас заплачет. Человек всегда хочет плакать, когда глубоко чувствует изменчивость и трагичность жизни. Дети, возможно, чувствуют это глубже, чем взрослые.

Так вот, наш юноша вдруг понял, что прожил за это лето целую отдельную жизнь, что сейчас он простится с этой жизнью и она уже не вернется. Никогда. И новые знакомства, и прогулки в лес, и вкус собранных свежих ягод, и, может быть, первая любовь умрут сегодня и станут воспоминанием. Автобус или машина увезут его туда, в продолжающуюся жизнь, а «эта» жизнь станет историей. Вы все наверняка чувствовали что-то подобное. Это чувство и значит «немножко умереть». А значит оно — «немножко повзрослеть» и продолжить жизнь. Так что мы взрослеем умирая и умираем взрослея.

Кстати, все это можно выразить на языке математических формул.

Математика — это царица наук, как пехота — царица полей. Греки считали, что числа существуют отдельно от вещей. Мы с вами думаем, что числа нужны для счета предметов, а греки думали, что если бы все предметы исчезли, то числа бы остались. И в самом деле, вот три коровы, вот три телеги. Там — три, и тут — три. Коровы ушли пастись, в телеги впрягли лошадей и увезли их куда-то. Предметы исчезли, а цифра три существует и без них прекрасно и ни в каких телегах и коровах не нуждается.

Ну, это я так, ради любопытства рассуждаю. Вам так математику учить нельзя. Ни одну контрольную не напишете.

Что вам еще рассказать? Хотите, расскажу, как в древности без чертежей и расчетов угадывали нагрузку на арки при строительстве храмов?

* * *

Я проработал в школе всю жизнь. Только директором лет двадцать. Все с детьми, с детьми. Но при этом мы, преподаватели, часто черствеем. Программы, отчеты, совещания. Дети превращаются в средство и перестают быть целью учебного процесса. А он сумел сохранить свежесть восприятия жизни. Сумел остаться внутри молодым. Не засох, не озлобился, не зачерствел. Когда мы поставили его на замены, то не на шутку переживали. Долго не работал, старый холостяк, в возрасте. Ну, сами понимаете... Но первая реакция детей нас ошеломила. Я и сам ходил к нему на уроки. Тишина полная. Муху слышно, как летит. Я детей не узнал. И это был наш вечно шумный 9-й «В»! Да я и сам с интересом слушал. Жалко, что таких учителей мало, что они — редкость.

— Вы смотрите на меня как на очень старого человека. Я для вас почти динозавр, ископаемое животное. А ведь я старше вас всего на сорок — сорок пять лет. Ничтожные числа!

Вы улыбнулись. Ваш мир пока еще незыблем. В нем есть маленькие, старенькие и молодые. И вам кажется, что люди не переходят из одного возраста в другой, а вечно пребывают в одном. Старики всегда были стариками, а вы всегда будете молодыми. Так вам кажется. Возраст для вас — нечто вроде каст в Индии, где из касты в касту перейти

невозможно. Но я был молодым, а вы будете взрослыми и старыми тоже будете. Бояться этого не надо.

Кроме того, в душе я такой же молодой, как и вы. Может, даже моложе. Когда я смотрю в зеркало, то удивляюсь, потому что лицо, которое в нем отражается, намного старше, чем то лицо, которое во мне спрятано. Да, да. Вы любите читать? Обязательно полюбите. Чтение прибавляет человеку ума и опыта без прибавления возраста. Есть такая книга «Вино из одуванчиков». Там одну старушку дети считают вруней за то, что она сказала, будто была такой же юной, как они. Они страшно на нее обиделись, а по сути они испугались. Ведь если это правда, то им придется постареть, их кожа сморщится, походка станет медленной, от них станет пахнуть лекарствами. Вот они из защитной реакции и ополчились на нее. Сначала она обиделась, посчитала детей злыми и жестокими. Но потом смирилась. Время само все поставит на свои места. Зачем спешить и переубеждать кого-то? Обязательно почитайте эту книгу.

Я вот сказал, что чтение прибавляет опыт не добавляя возраста. Помните? Я приведу пример. Карамзин написал «Историю государства Российского» и работал над ней двадцать лет! Эти двадцать лет он провел как затворник и мученик науки. Получилось восемь томов. Карамзин был Колумбом, который открыл современникам историю своей страны. И вот эти восемь томов однажды, во время болезни, Пушкин прочел за две недели, то есть за четырнадцать дней. Причем прочел, как сам говорит, внимательно. Представляете, какая несоразмерность? Девятьсот веков истории один человек изучает двадцать лет. Его восьмитомную книгу другой человек прочитывает за две недели! Карамзин повзрослел на девять столетий за двадцать лет, Пушкин — за две недели благодаря труду Карамзина. Так мы впитываем чужой опыт, взрослеем, радуемся, страдаем вместе с автором и за один год своей жизни можем повзрослеть на несколько чужих жизней. Чудо, правда?

Сколько осталось до звонка? Ну, вот и посидите тихо эти пять минут.

Меня никто не воспитывал. Родителям некогда. Друзья, телевизор, компьютер. Все как у всех. А он стал первым человеком, от которого я услышал много интересного и полезного. Причем он говорил с нами глядя не сверху вниз, как старший, а вровень, как друг, который больше видел и больше знает. Длились эти замены не долго, но это самые приятные воспоминания из школьной жизни.

— Люди постоянно влияют друг на друга, постоянно делятся всем, что в них живет. Повезло тому, кто нашел в жизни хорошего учителя. Моим первым настоящим учителем, знаете, кто был? Вы не поверите. Офицер в армии. Служба во времена моей молодости была тяжелая. Гораздо тяжелее, чем сейчас. И от армии тогда никто не уваливал. Офицеров многие считали людьми ограниченными, солдафонами. А мне повезло. Я был начальником караула, а он — дежурным по части. Пришел ночью проверять посты, зашел в караулку, и мы разговорились. У меня на столе была книга из серии «Жизнь замечательных людей» о китайском поэте Ли Бо.

И он, на удивление, проявил к этой книге интерес. Оказалось, что он жил когда-то на Дальнем Востоке, немного знал китайский язык и прочел уйму разных интересных книг. Мы проговорили аж до смены караула. Потом в части несколько раз виделись. Он мне много из истории рассказывал. Говорил, что нужно обращать внимание на детали. Например, стремя у

всадника. Кажется, мелочь. Но тот, кто эту мелочь изобрел, смог в бою приподниматься на стременах, сильнее рубить саблей, быть подвижнее. В те времена, когда конница решала ход сражения, подобная мелочь могла привести к захвату огромных территорий. Я был мальчишка. Мне все было интересно. Честно скажу, больше таких собеседников я в жизни не встречал.

— Сегодня я шел по коридору и увидел на полу кусок хлеба. Прошу вас, цените еду. Вы еще ее не зарабатываете, но у вас есть ум, чтобы понять, как она дорога, и есть совесть, чтобы быть благодарными тем, кто вас кормит. Сладость хлеба — это доказательство того, что человек не произошел от обезьяны. И вот почему. В случае происхождения от обезьяны человеку не нужно было бы так долго и сомнительно трудиться ради прокорма. Он срывал бы то, что свисает с деревьев, и выкапывал бы то, что растет из земли. Вместо этого он пашет землю, боронит ее, сеет семя, ждет погоды. Его труд всегда ненадежен. Будет много дождя, семя сгниет. Будет много солнца, урожай высохнет. Потом человек жнет, скирдует, обмолачивает. Потом мелет, замешивает, печет. Это очень длинный процесс, для которого нужны ум, терпение, выносливость, благодарность. У арабов слово «хлеб» и слово «жизнь» — одно и то же слово — «айш». В самой главной молитве христиан тоже упомянут хлеб: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь (на сей день)».

Поэтому, прошу вас, будьте к еде вообще и к хлебу в особенности внимательны.

Когда-то давно был один учитель, который дал обет не работать в городских школах, а только в сельских. В селе дети знают цену хлебу больше, чем дети в городе. Но и там случается часто невнимательность, неблагодарность, хамство. Так вот этот учитель требовал, чтобы дети сами сажали на огороде саженцы помидора, редиса, огурцов. Потом требовал, чтобы они ухаживали за тем, что посадили. Ну а в конце был сбор урожая. Надо было видеть, как дети гордились тем, что вырастили сами, как они защищали свой труд от чужой неосторожности, как делились своими плодами. Учитель хотел, чтобы дети навсегда запомнили цену выращенного овоща, а затем ценили не только то, что вырастили сами, но и то, что произвели чужие руки.

Это касается и любого другого труда. Вы помыли пол. Что вы скажете тому, кто пройдет по вашему чистому полу в грязных сапогах? Ну-ну, не стоит произносить вслух то, что вы скажете. Но вы понимаете? Если в наведенную вами чистоту плюнули, вы готовы драться с этим человеком. Вас обидели лично! А ведь мы часто не задумываясь плюем на чужой труд по несколько раз на дню.

Пробежали по клумбе. А ведь кто-то ее разбил и украсил! Порвали новый пиджак. А ведь он денег стоит и родители заработали на него. Подумайте об этом. Человек обязан ценить чужой труд, и только тогда он вправе требовать уважения к своему труду.

Моя дочь изменилась к лучшему как-то незаметно. Вдруг стала мыть за собой посуду, хотя раньше от нее нельзя было этого допроситься. Уходя в школу, стала заправлять за собой постель. В общем, ребенок изменился. Она стала серьезнее, ответственнее. Мы не знали, в чем дело. Сначала просто думали, что девочка повзрослела. Думали, прислушалась к нашим требованиям. Оказалось, это их учитель. Если бы сказал кто-то со стороны, что можно так поменяться от нескольких уроков, я бы не поверила. Вот так случайно, на заменах... Это удивительно. Мы все ему очень благодарны.

— Давайте сегодня поговорим о басне. Человеку всегда хотелось мир очеловечить. Хотелось сравнить все, что вокруг, с собственным миром. Поэтому шум листвы человек называл шепотом, отношения между небом и землей сравнивал с любовью между мужчиной и женщиной. Не думайте, что так поступали люди древние, те, которые кажутся нам неразвитыми, нецивилизованными. Современная наука мыслит так же. Есть, скажем, так называемый антропный принцип в современной физике. Согласно этому принципу, мир сотворен именно в таком виде, что перед взором человека он предстает красивым и гармоничным, как единое целое. Ни у какого другого живого существа нет мыслительного аппарата, позволяющего осознать и ощутить мир как целое. При этом мир создан так, что человек может его познавать и применять практически плоды своих познаний. И скопления звезд ученые согласны называть именами мифологических персонажей. А новооткрытым звездам и планетам дают имена знаменитых современников. То есть человеку всегда хотелось и всегда будет хотеться оживить окружающий мир, заставить этот мир говорить на человеческом языке. Сюда же относится и басня.

Кстати, мы космос упомянули. А знаете, что общего между космосом и губной помадой? Вот девочки в вашем возрасте уже из дома не выйдут без того, чтобы подкраситься, прихорошиться при помощи туши, крема, лака, помады. Это все мы называем кос-ме-ти- кой. Слышите общий корень? Космос и косметика. И там и там корень означает «приводить в порядок», «украшать». Космос — это гармоничное и красивое тело. Ну, об этом позже.

Итак, в басне животные говорят на человеческом языке и попадают в ситуации, похожие на ситуации в мире людей. Самый известный автор басен в мире — это...? Правильно. Эзоп. Он был рабом, и купил его на рынке невольников некий Ксанф, считавшийся философом. Эзоп много раз выручал своего заносчивого хозяина, подсказывал ему правильные ответы на каверзные вопросы. Так, однажды Ксанф за обедом, после выпитого вина, пообещал выпить море. А когда протрезвел, пришел в ужас от того, что он пообещал сделать. И Эзоп спас его. Эзоп сказал Ксанфу, что тот обещал выпить только море. А в море непрестанно вливают свои воды большие реки и маленькие ручьи. Пусть, сказал Эзоп, сначала твои спорщики возбранят рекам наполнять море, а ты тогда выпьешь его, но только его, а не еще и другую воду. И вот однажды за обедом опять подвыпивший Ксанф потребовал принести на стол лучшее, что есть в доме. Эзоп ушел на кухню и очень скоро вернулся с блюдом. «Что ты нам принес?» — спросил Ксанф. «Язык», — отвечал Эзоп. «Почему язык?» — «Потому, что языком мы признаемся в любви, произносим клятвы верности, хвалим богов, декламируем стихи бессмертных поэтов. Все лучшее в мире людей связано с языком». — «Хорошо, — сказал Ксанф. — Принеси нам теперь худшее, что есть в нашем доме». Эзоп ушел и очень скоро вернулся с блюдом. Как вы думаете, что он принес? Правильно, опять язык. А почему? Да потому, что не только все лучшее в мире людей связано с языком, но и все худшее. Давайте попробуем перечислить то злое, что мог сказать хозяину Эзоп, злое, сходящее с языка. Ложь! Правильно. Скверные слова, ругань! Правильно. Что еще? Проклятия! Разглашение слухов! Правильно. Пересказывание чужих тайн. Правильно. А то, что слетает с языка, откуда берется? Из души, из сердца, правильно. Язык — лишь предатель сердца. Язык всегда выговаривает то, что внутри человека живет.

В Библии тоже об этом сказано. Иисуса Христа обвиняли в том, что Его ученики не мыли руки перед едой. Это не был спор о гигиене. Мытью рук приписывали религиозный смысл. Эти омовения должны были, по мысли древних учителей, очищать душу человека. А

Иисус Христос сказал, что не еда немытыми руками оскверняет человека. Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло изнутри исходит и оскверняет человека (Мк 7, 21-23).

Ну вот, мы с вами и до Библии добрались. В следующий раз я подробнее поговорю с вами об этой книге. Не кривитесь и не морщитесь. Вам будет интересно. Библия ведь не книга, а собрание книг. Там есть письма, есть приключенческие сюжеты, хроники, то есть летописи. Есть притчи и загадки, много интересных историй. Там есть всё. Даже любовная лирика. Вот как вы оживились! Да, само слово «Библия» означает «книги». Не одна книга, а много. Это слово ввел в обиход Иоанн Златоуст в четвертом веке нашей эры. Что является точкой отсчета, до которой длилась «не наша эра», а с нее началась «наша»? Господи, как много вам нужно объяснять и рассказывать! Все сразу не успеем. Вернемся к Библии.

Знаете, однажды умирал великий писатель. Его постель окружили многочисленные дети. Писатель слабым голосом сказал: «Дети, возьмите книгу». Они спросили: «Какую книгу, отец?» — в его библиотеке было множество книг. Но он сказал: «Есть только одна книга, дети. Это — Библия». Так что в следующий раз мы о ней поговорим.

Следующего раза не было. Учителя один за другим стали выходить на работу. Учебный процесс стал входить в обычную колею. Дети отстали от программы по всем предметам, потому что на заменах им не диктовали в тетрадку, не заставляли выучить определенный параграф, заданную тему. Между математичкой и старым учителем, проводившим замены, даже возник небольшой, но горячий спор. «Вы же математик! Ладно там география или история! Но по математике вы же могли пройти с ними программные темы!» — повышенным голосом говорила она. Он отвечал тише, чем говорила она. Несколько раз назвал ее «милочка моя». Вспомнил зачем-то Льва Толстого, который якобы говорил, что главное — это не знание тригонометрии или французской грамматики, а знание того, что все люди страдают и всех надо жалеть. Чем закончился разговор на повышенных тонах, сказать трудно. Уроки пошли в бешеном темпе, вдогонку за убежавшей программой. Уже накануне выпускных экзаменов в класс посреди урока вошла директор и сказала:

— Дети, тот преподаватель, который три месяца назад проводил у вас замены, умер.

Класс молчал, словно у каждого во рту была «вода святого Викентия». (Это еще одна история, которую нам успел рассказать человек, который только что умер. Мы все ее запомнили. В ней какой-то монах по имени Викентий давал всем соряющимся супругам пузырьки с водой. Он говорил, что это чудодейственная вода. Стоит только, не проглатывая, держать ее во рту и во время разгорающейся ссоры прочесть пять раз «Отче наш», как начавшееся раздражение угаснет. Простые люди ему верили. Они молились с водой во рту, и так в сотнях семей погасли тысячи ссор.)

Но мы не молились тогда. Мы просто молчали, оглушенные этой новостью, словно набрали в рот воды. Для многих из нас это была первая в жизни смерть знакомого человека. До этих пор смерть касалась кого-то другого. Она постоянно забирала из жизни людей, но мы не знали их. Нам не было по ком плакать. В тот день смерть впервые коснулась нас.

Мы вдруг остро почувствовали, как дорог нам стал Георгий Валерьевич (так его звали), какое важное место он успел занять в наших душах за ту короткую неделю, когда вел у нас замены.

Детское сердце благодарно. Оно суетно, но благодарно. Кажется, что оно забывает все важные события. Но это не так. Оно не забывает, но проявляет их и закрепляет так, как делали это с пленкой и фотографией фотографа в до-цифровую эпоху. Георгий Валерьевич вошел в наши сердца, и весть о его смерти проявила пленку и опустила ее в закрепитель. Мы сами почувствовали, что «немножко умерли» вместе с ним, как он сам говорил. «Немножко умерли» и продолжаем жить.

Директор ушла, назвав место и время похорон и сказав, что мы можем, если захотим, проститься с покойным. Учительница попробовала продолжить урок, но ее никто не мог слушать, даже если бы и захотел. Девочки стали плакать. У всех в душе, наверное, звучали одни и те же вопросы.

* * *

— Почему самые важные люди приходят внезапно, без предупреждения, и вскоре уходят навсегда?

— Почему самые важные слова в жизни нам говорят не те, кто должен это сделать, а другие люди, посетившие нас как бы мимоходом?

— Почему лучшие люди уходят от нас внезапно и раньше всех?

— Зачем он приходил к нам? Чтобы мы полюбили его и теперь нам было так больно?

— Почему мы так к нему привязались?

— Что такое вообще эта смерть? Откуда она взялась? Ну почему все так, Господи?

Неужели это и есть взрослая жизнь? Внезапные удары без всякой возможности дать сдачи? Мы все беззащитные, да? Мы впервые почувствовали то, что будет нас теперь встречать часто?

* * *

Своего сына в те дни я впервые видел плачущим. Он у меня сильный парень. Боксом занимается. Никогда нюни не распускал. А тут... Мы с женой были очень удивлены.

Я долго говорил в тот день со своим Сережкой. Рассказывал о своем опыте, о том, как я терял дорогих людей. Пообещал ему записать Георгия Валерьевича в свой помянник. И молитву показал в Молитвослове, какую по усопшим читают.

В ближайшее воскресенье мы с ним поехали на кладбище. Разыскали могилу учителя, вместе долго молились за упокой его души...